

Санд Ж.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:  
**СНЕГОВИК**



Собрание сочинений

Жорж Санд

**Снеговик**

«Алгоритм»

1859

УДК 82/89  
ББК 84(4Фр)

**Санд Ж.**

Снеговик / Ж. Санд — «Алгоритм», 1859 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03039-0

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. Действие романа «Снеговик» происходит в Швеции конца XVIII столетия, а главные герои его – бродячий кукольник, благородный и смелый Христиан Вальдо и барон Олаус Вальдемора, прозванный Снеговиком, богатый буржуа, человек жестокий и порочный. И вновь, как и в других своих романах, писательница создает характеры, противоречащие друг другу, и в борьбе их торжествует добро.

УДК 82/89  
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03039-0

© Санд Ж., 1859

© Алгоритм, 1859

# Содержание

I	8
II	22
III	34
IV	50
V	64
Конец ознакомительного фрагмента.	77
Комментарии	

# Жорж Санд

## Снеговик

*Морису Санду*

[1]

Мы просим читателя заглянуть вместе с нами в самую суть интриги этой повести, как это бывает в театре, когда поднимается занавес над мизансценой, смысл которой раскроют потом зрителю ее участники. Поэтому мы просим его тотчас же перенестись вместе с нами туда, где развиваются события, с той лишь разницей, что в театре занавес редко поднимают над пустыми подмостками, а здесь мы с читателем окажемся на несколько мгновений с глазу на глаз.

Ну вот мы и очутились в довольно странном и не очень веселом месте: это на первый взгляд правильная прямоугольная комната, в которой все же один угол, северо-восточный, бесспорно, глубже трех остальных, стоит лишь приглядеться к квадрату обшитого темным деревом потолка; выступающие на нем балки тянутся дальше.

Эта неправильность, впрочем, еще подчеркивается деревянной лестницей, перила которой покоятся на балясинах довольно искусной резьбы, – тяжеловесное сооружение, относящееся, видимо, к концу XVI или к началу XVII века. Первые шесть ступеней прерываются маленькой площадкой, а затем лестница круто поворачивает, и последующие шесть ступеней ее упираются в стену. По-видимому, там была когда-то дверь, которую потом заложили. Внутри здание подвергалось кое-какой переделке. Следовало бы заодно убрать и лестницу, только загромождающую помещение. Почему же этого не сделали? Вот, дорогой читатель, вопрос, который мы с вами задаем друг другу. Несмотря на это явное свидетельство почтения или безразличия, комната, которую мы осматриваем, сохранила в неприкосновенности свой старинный комфорт. На большой круглой печке, где давно уже не разводили огня, стоят прекрасные часы в стиле буль<sup>[2]</sup>; их потускневшие стекла, ставшие радужными от сырости, отсвечивают в полумраке металлическим блеском. Затейливая медная люстра в голландском вкусе спускается с потолка. С годами она позеленела, и медь сделалась похожей на малахит. Одиннадцать восковых свечей, не тронутых временем, хотя и пожелтевших, торчат еще в широких металлических розетках, которые были хороши тем, что не давали пролиться ни капли воска, и плохи тем, что нижняя часть помещения погружалась во мрак, а весь свет устремлялся вверх, к потолку.

Двенадцатая свеча этой люстры на три четверти сгорела. Обстоятельство это поражает нас, любезный читатель, потому что мы очень внимательно рассматриваем каждую мелочь. Но мы бы вполне могли этого и не заметить, ибо удивительные украшения частично скрывают люстру с ее свечами и ниспадают плотными складками по ее изгибам. Вы, может быть, подумали, что это кусок серой материи, брошенной сюда когда-то, чтобы уберечь медь. Потрогайте его, если сумеете дотянуться; вы увидите, что это клочья покрытой пылью паутины, похожие на листы пергамента.

Паутины, впрочем, достаточно всюду, по краям закопченных рам огромных фамильных портретов, занимающих три стены комнаты. По углам она нависает довольно правильными оборками, словно, приняв обличье паука, некая суровая и прилежная Парка<sup>[3]</sup> вздумала завесить своей пряжей все эти запущенные панели и скрыть от глаз каждый закоулок.

Но вам не найти ни одного паука: все они давно уснули или же вымерзли от холода, и если вам надо будет провести ночь в этой мрачной комнате, чего я вам отнюдь не пожелаю, вам даже не удастся отвлечься от чувства одиночества, внимая мерному шороху этих неутомимых тружеников. Часы, которые своим тиканьем напоминают потрескивание работающего паука,

и те безмолвствуют. Стрелка остановилась на четырех часах утра бог весть уже сколько лет назад!

Я говорю: на четырех часах утра, ибо в стране, где мы очутились, бой старинных часов иногда указывал на разницу между днем и ночью; потому что в стране этой дни длятся порою только пять часов, а ночи – девятнадцать. И если, свалившись от усталости после дороги, вы забудетесь мертвым сном, то, когда вы проснетесь, вам нелегко будет сообразить, проспали вы около полусуток или целые сутки. Если бы часы были заведены, они бы вам все это сказали, но их никто не завел, и бог знает, можно ли их вообще завести.

В какой же мы все-таки стране? Об этом мы узнаем сейчас же, не выходя из комнаты. Вверху по всей скошенной стене, в которую вделана лестница и больше половины которой снизу обшито, как и другие стены, дубом, мы видим большие рисунки, повешенные туда, вероятно, из-за своего формата. Растянутые в ширину, они заполняют остаток стены, не одетый деревом. Развесив их так высоко, их не столько выставили для обозрения, сколько убрали с глаз долой, и нам придется подняться на все двенадцать ступенек этой ведущей в стену лестницы, дабы убедиться в том, что продолговатые полосы пергамента, раскрашенные в самые резкие тона, не что иное, как географические или навигационные карты и планы укрепленных городов.

Лестница доводит нас как раз до уровня карты, которая изображает места, где мы находимся, и которую, должно быть, для того сюда и повесили, чтобы, в случае надобности, можно было справиться по ней или чтобы прикрыть заделанный проем там, где была дверь.

Вон тот огромный зеленый змей, что извивается посредине, – это Балтийское море. Наверное, вы сразу узнали его по раздвоенному, как у дельфина, хвосту и по бесчисленным излучинам – фиордам, узким и извилистым заливам, глубоко врезающимся в прибрежные скалы.

Не отклонитесь в сторону Финляндии, вон она там подкрашена желтой охрой; найдите на противоположном берегу среднюю часть Швеции – она темно-красного цвета; вы узнаете по озерам, рекам, горам далекарлийскую провинцию<sup>[4]</sup>, страну еще довольно дикую во времена, в которые вас перенесет наш рассказ, а именно в прошлом веке, к концу царствования добродушного и суматошного Адольфа-Фридриха Гольштейн-Готторпского<sup>[5]</sup>, в прошлом любекского протестантского епископа, женатого впоследствии на Ульрике Прусской, друге Вольтера, сестре Фридриха Великого; словом, насколько я могу судить, мы очутились в 1770 году.

Несколько позже мы увидим, как выглядит эта страна. А пока, дорогой читатель, удовольствуйтесь тем, что узнали: вы находитесь в старой усадьбе, прилепившейся к скале на самой середине замерзшего озера; и это, естественно, наводит вас на мысль, что я вас туда переносу в самый разгар зимы.

В последний раз окинем взглядом комнату, куда она еще наша; ибо, хотя она и очень мрачна и холодна, у нас ее скоро будут оспаривать. Уставлена она мебелью довольно искусной работы, но громоздкой и неуклюжей. Единственное кресло, сравнительно новое, а именно эпохи Людовика XIV, обитое пожелтевшим шелком, все в пятнах, но довольно мягкое и покойное, кажется, заблудилось здесь в чопорном обществе сточенных червями стульев с высокими спинками, наверное простоявших у стены уже больше двадцати лет. Наконец, в углу напротив лестницы, старая кровать с четырьмя кручеными столбами; ее шелковый истертый полог усугубляет своей ветхостью мрачный и унылый вид комнаты.

А теперь уйдем отсюда, читатель. Смотрите, дверь уже открывается, и вам придется положить на меня, чтобы узнать, какие события произошли и произойдут на сцене, которую я вам только что показал.

## I

Вот уже добрых четверть часа в наружные ворота Стольборгского готического замка стучали и названивали; но ветер так яростно свищет, а старый Стенсон совсем оглох! Его обычно выручал племянник, не такой тугой на ухо; да, на беду, племянник, русский верзила Ульфил, верил в нечистую силу и не торопился отпирать. Стенсон, старый управляющий барона Вальдемора, человек болезненный и хмурый, жил в одной из пристроек находившегося в его распоряжении заброшенного замка, который он охранял. Ему показалось, что в ворота стучат, но Ульфил справедливо заметил, что домовые и водяные, каких немало водится в озере, иначе не поступают. И Стенсон со вздохом снова углубился в чтение старинной Библии и вскоре отправился спать.

Но вот у тех, кто стучал, терпение наконец лопнуло; они сломали замок, вошли во двор и сквозь узкую галерею первого этажа вместе со своим ослом вступили в описанную выше комнату, которая называлась медвежьей, ибо на лепном гербе, видневшемся снаружи над окном, был изображен увенчанный короной медведь.

Дверь этой комнаты была обычно заперта. В этот день она оказалась открытой – удивительное обстоятельство, которое, однако, нисколько не озаботило наших пришельцев.

Оба гостя имели довольно странный вид. Один, закутанный в овчину, напоминал несущее чучело, какие ставят пугалами на огородах или в коноплянике, чтобы отгонять птиц; другой, повыше и постройнее, походил на добродушного итальянского разбойника.

Осел был хорош: крепкий, навьюченный, точно вол, и настолько привыкший к путевым тяготам, что беспрекословно взошел на несколько ступенек и не выказал ни малейшего удивления, ощутив под ногами вместо соломы, как то бывает в конюшнях, еловые доски пола. Однако бедняга прихворнул, и это больше всего заботило того из двух путников, который был выше ростом.

– Знаешь, Пуффо, – сказал он, ставя фонарь на большой стол, занимавший середину комнаты, – Жан простудился. Он просто надрывается от кашля.

– Черт побери, а мне-то самому каково! – ответил Пуффо по-итальянски, то есть на том языке, на котором к нему обратился его спутник. – Может быть, вы, хозяин, думаете, что сам я бодр и весел, наезжая с вами по этой чертовой стране?

– Я тоже продрог и устал, – сказал тот, кого Пуффо именовал хозяином, – но что толку жаловаться? Мы добрались сюда, и теперь все дело в том, чтобы не дать себя заморозить. Погляди хорошенько, точно ли это медвежья комната, про которую нам говорили.

– А как мне в этом убедиться?

– Да по географическим картам и по лестнице, которая никуда не ведет. Не так ли нам все описали на мызе?

– Почему я знаю, – буркнул Пуффо, – не понимаю я их дурацкого наречия.

С этими словами он взял фонарь, поднял его над головой и сердито проворчал:

– Что, меня географии учили, что ли?

Хозяин глянул вверх и произнес:

– Это тут, конечно. Вон карты, а здесь, – добавил он, быстро вскочив на деревянную лестницу и приподняв висевшую перед ним карту Швеции, – замурованное место. Все в порядке, Пуффо, не надо отчаиваться. Комната закрывается наглухо, мы выспимся как короли.

– Что-то я ничего тут не вижу... А! Вот и кровать! Только нет ни тюфяка, ни подушки, а нам говорили, что тут две хороших постели.

– Неженка! Тебе бы всюду постели! Посмотри-ка, есть ли дрова в печи, да огонь разведи.

– Никаких дров не видать, один уголь.

– Еще лучше. Топи, дружище, топи! А я пока займусь бедным Жаном.



И, схватив валявшийся перед печью лоскут ковра, хозяин принялся так усердно растирать осла, что через несколько минут почувствовал, что и сам отогрелся.

– А меня ведь предупреждали, – обратился он к Пуффо, который растапливал печь, – что ослы не переносят температуру ниже пятидесяти двух градусов, но я не поверил. Я считал, что осел повыносливее лошади, что живет в Лапландии<sup>[6]</sup>, а Жан у нас крепыш, да еще такой покладистый! Будем надеяться, что он последует нашему примеру и не помрет за эти несколько дней. Бедняга все еще перемогается и покорно несет на спине то, что и двум лошадям не под силу.

– Все едино, – заметил Пуффо, стоя на коленях перед печкой, где огонь начинал уже потрескивать и разгораться, – надо было вам продать его в Стокгольме, там на него столько народу зарилось.

– Продать Жана! Чтобы из него чучело для музея сделали? Ну уж нет! Целый год он мне прослужил верой и правдой, и я люблю его, это верный слуга. Как знать, Пуффо, смогу ли я то же самое сказать через год о тебе?

– Благодарствую, господин Кристиано, но мне это все равно! Не больно-то я чувствителен, плевать мне на осла, по мне, было бы что выпить да закусить.

– И то верно. Чувства еде не помеха, я и сам чертовски проголодался. Послушай, Пуффо, повторим прилежно урок; что нам сказали в новом замке? «Тут вам места не приготовили! Явись вы от имени короля, и то не нашлось бы даже самого малого уголка, куда вас приткнуть. Ступайте-ка на мызу». На мызе нам сказали то же самое, но там дали фонарь и указали дорогу, протоптанную в снегу напрямик через озеро, и посоветовали пойти в старый замок. Путь был не из приятных, не спорю, сквозь эту пургу, но идти пришлось недолго. Каких-нибудь десять минут! И все же, если ты хочешь поужинать, придется тебе пройти по озеру еще разок.

– А если нас турнут с мызы, как вытурили из нового замка? Нам могут сказать, что и без нас ртов хватает и что у них и ломтя хлеба не найдется для таких, как мы.

– Что верно, то верно, вид у нас неказистый. Вот я и побаиваюсь, что Стенсон, управляющий, – он где-то тут поблизости живет, старик, говорят, препротивный... Так вот, смотри, чтобы он не пальнул по нас из ружья. Но послушай, Пуффо, либо он спит как сурок, мы ведь и замок сломали и преспокойно сюда прошли, либо ветер так воет, что ничего не слышно. Ну ладно, мы потихоньку на кухню проберемся и, черт возьми, чего-нибудь уж раздобудем.

– Благодарю покорно, – сказал Пуффо, – по мне, так уж лучше пройти еще раз по озеру да воротиться на мызу. Там хоть народ и занятой, да обходительный, а вот Стенсон, видать, старик сердитый и злой.

– Делай как знаешь, Пуффо, ступай! И тащи сюда чего-нибудь, чем бы желудок прогреть. Нет, дослушай меня, о мой несравненный спутник! Выслушай раз и навсегда...

– Чего еще? – переспросил Пуффо, собравшийся уже уходить и затягивавший шнурки, которыми завязывался кожух.

– Подожди-ка, не уноси фонарь, – окликнул его Кристиано, – дай я сперва зажгу свечу в этой люстре.

– А как до них достать? Тут что-то никаких лестниц не видать, в этой вашей проклятушей медвежьей комнате.

– Стань сюда, я влезу тебе на плечи. Выдержишь?

– Давайте! Не больно-то вы тяжелый!

– Видишь ли, дружище, – рассуждал хозяин, стоя обеими ногами на широченных плечах Пуффо и держась рукой за один из изгибов люстры, а другой пытаясь вытащить свечу из подсвечника так, чтобы пыльная паутина не попала ему в глаза, – я не имею чести тебя знать. Три месяца мы с тобой блуждаем по белу свету, и, не считая твоего пристрастия к кабачкам, ты, видимо, парень неплохой, но, может быть, ты самый обыкновенный негодяй, и я прямо тебе скажу...

– Так говорите же, – прервал его Пуффо, слегка пошатнувшись, – поторопитесь лучше, чем мне тут нравоучения читать. Не такой-то вы легонький, как я поначалу думал!

– Все! – вскричал Кристиано, ловко соскакивая на пол, ибо ему показалось, что помощник не прочь скинуть его вниз. – Свечку я раздобыл и теперь хочу договорить то, что начал. Сейчас мы с тобой как цыгане, Пуффо, два бедных странника. Но я привык поступать разумно, а тебе иной раз нравится вести себя как последняя скотина. Так знай: в моих глазах самое нелепое, самое подлое, что может сделать человек, – это украсть.

– Где это вы видели, чтобы я когда что украл? – мрачно спросил Пуффо.

– Уж если бы случилось мне застать тебя с поличным, так я бы тебе шею наkostenял, дружище. Вот и хорошо, что я могу раз и навсегда тебя предупредить, какой у меня нрав. Только что я тебе втолковывал: постарайся раздобыть чего-нибудь поужинать либо уговорами, либо хитростью. Это наше право. Нас заманили в эти райские снега, чтобы мы потешили своими талантами большое и знатное общество. Нам выслали проездные, а если их уже не осталось, то не наша в том вина. Нам обещают кругленькую сумму, и я с тобой щедро поделюсь, хотя ты всего-навсего подмастерье, а мастер-то я; мы должны почитать себя довольными при условии, что нам не дадут сдохнуть с голоду и холоду. И надо же так случиться, что мы являемся среди ночи и как раз в то время, когда знатное общество изволит ужинать, когда у почтенных лакеев слюнки текут, а запоздалым путникам и мечтать ни о какой еде не приходится. Попытаемся же и мы поужинать сегодня, чтобы завтра приняться за свои обязанности. Стянув какие-нибудь кушанья и бутылочку-другую вина, мы нисколько не согрешим и покажем, что мы не дураки; а вот начини мы запихивать в карманы серебряные приборы и прятать под седлом нашего осла салфетки и скатерти, мы, чего доброго, и сами угодим в ослы: ведь серебряными-то приборами сыт не будешь, а салфетки да скатерти под седлом порвутся. Понял, Пуффо? Раздобыть себе пропитание позволительно, только чур – не красть, а не то у меня сотню палок получишь. Вот как я смотрю на вещи.

– Ладно, – согласился Пуффо, пожимая плечами, – я вас вдосталь наслушался! Ну и болтун же вы!

И Пуффо удалился, забрав фонарь, крайне недовольный хозяином, который, однако, имел все основания заподозрить его честность, находя время от времени в своей поклаже бродячего актера различные предметы, внезапное появление которых Пуффо объяснял не очень-то убедительно.

И все же он не напрасно обвинял Кристиано в болтливости. Во всяком случае, хозяин его любил поговорить, как все люди, наделенные духовной и физической силой. Слуга чувствовал превосходство ума и природных качеств Кристиано, которые не шли ни в какое сравнение с его, Пуффо, вульгарным обращением и грубыми привычками. Он был покрепче скроен, и когда высокий и худой Кристиано пригрозил ему – кряжистому и приземистому ливорнцу, он больше полагался на свое влияние и ловкость, нежели на силу, хотя и изрядную: в этом он ему уступал.

Оставшись в одиночестве, Кристиано принялся ухаживать за своим ослом, к которому успел уже привязаться. Как только они вошли в медвежью комнату, он сразу же освободил его от поклажи. Он сложил в уголок все добро, состоявшее из двух порядочных сундуков, связки легких выструганных подпорок с разобранными перекладинами, из тюка свежерасписанных занавесов и кулис, плотно скатанных и завернутых в кожаный чехол. Все это составляло его актерское имущество, это было его ремесло, его кусок хлеба. Гардероб у него был не обременительный. Он состоял из узелка с бельем да грубого суконного балахона, который, как только хозяин сбрасывал его с плеч, служил попоной ослу. Все прочее было на Кристиано, а именно: сильно поношенный венецианский плащ или что-то в этом роде, грубые штаны да три пары шерстяных чулок, натянутых одна поверх другой.

Чтобы удобнее было раскладывать вещи, Кристиано скинул плащ, шерстяную шапочку и широкополую шляпу. Это был высокий, стройный молодой человек с замечательно красивым лицом, обрамленным копной растрепанных черных волос.

В комнате стало уже заметно теплее, да и юношу так хорошо грела кровь, что он не очень-то ощущал холод. Расхаживая в жилете взад и вперед, он готовился поудобнее устроиться на ночлег. Его не так заботило, будут ли обещанные постели, как найдется ли Жану попить и поесть.

– Как я сглупил, – корил он себя, – что не подумал об этом, пока мы останавливались в новом замке или на мызе; но мыслимо ли о чем-то думать, когда ветер сыплет ледяными колючками в глаза! На мызе нас заверяли (теперь-то как подумаешь, сразу понятно, что говорилось это в насмешку), что будто в старом замке всего вволю найдется, лишь бы старику Стенсону заблагорассудилось нас пустить; но, как видно, ему неохота было это делать, раз уж нам пришлось вламываться самим. Ну, будь что будет, а надо узнать, как цербер сей лачуги взглянет на все это. В конце концов, приглашение у меня в кармане, и если меня отсюда погонят, уж я им покажу.

После чего Кристиано отвел Жана с кладью в закуток под деревянной лестницей и, отыскивая со свечой в руке гвоздь или какой-нибудь болт, чтобы привязать осла, обнаружил, что дверь в стене в самой глубине подклети отворялась, уводя в удлиненный угол комнаты.

Так как он не приметил ничего необычного в планировке, то не мог в точности определить, попал ли он в проход в толще стены или промеж двух стенок, сходящихся вверх. Он толкнул потайную дверь – она действительно была потайная, – не ожидая, что она окажется отпертой, и, убедившись, что ее ничто не держит, осторожно пошел вперед наудачу. Не успел он сделать и трех шагов, как свеча погасла. По счастью, печь пылала вовсю, и от нее он запалил фитилек, прислушиваясь чуть ли не с радостью к пронзительному и тоскливому завыванию ветра, гулявшего по потайному ходу.

Кристиано был наделен романтическим воображением и любил поэтические фантазии. Ему чудилось, что духи, издавна заключенные в этой покинутой комнате, сетуют на то, что кто-то проник в их тайны. А так как к тому же он опасался, как бы от мороза у бедного Жана не усилился насморк, он, выходя, тщательно прикрыл за собою дверь, обратив внимание на то, что снаружи она была снабжена крепкими засовами; но и собственной тяжести было достаточно, чтобы прижать ее к притолоке.

Предоставим же ему идти к новым открытиям и введем в медвежью комнату нового путника.

Этот тоже попал сюда нежданно-негаданно, но сопровождает его Ульфил и почтительно ему светит, а следом за ним идет мальчик-лакей, одетый во все красное, и дрожит от холода. Все трое говорят по-далекарлийски и еще не миновали двора: на лице Ульфила написан страх, на лицах его обоих спутников – нетерпение.

– Ладно, Ульф, ладно, мой мальчик, довольно любезностей. Посвети нам только до пресловутой медвежьей комнаты и поскорее займись лошадью. Она у меня вся в мыле после того, как втащила сани на эту скалу. Эх, и добрый же конь! Не хотел бы я с ним расстаться даже за десять тысяч риксдалеров!

Так беседовал с Ульфом главный адвокат города Гевалы, доктор прав Лундского университета<sup>[7]</sup>.

– Как, господин Гёфле<sup>1</sup>, неужто вы хотите тут заночевать? Мыслимое ли дело?..

---

<sup>1</sup> Гевала, Гефле, Гёфле – названия одного и того же города в различном написании. По случайному совпадению адвокат, о котором здесь идет речь, носил имя города, в котором он практиковал. (Примеч. автора.)

– Молчи, молчи. Я знаю, наш славный Стен будет недоволен, но когда я там устроюсь, ему придется с этим примириться. Займись лошадьё, говорят тебе... Я и сам отлично найду дорогу.

– Что же, господин адвокат, вы так и явитесь туда среди ночи со своим внуком?

– Болван! Ты прекрасно знаешь, что у меня нет детей! А ну-ка, Нильс, помоги мне распрячь беднягу Локи. Видишь, здесь только болтать умеют. Ну-ка, пошевеливайся! Или ты промерз насквозь за каких-нибудь три-четыре часа ночного пути?

– Полноте, полноте, господин Гёфле, он еще слишком мал, – вступился Ульфил, задетый упреком адвоката. – Ступайте направо в первую дверь, укройте там, а о лошади я позабочусь.

– Ба! Никак снег перестал. И мороз полегчал после метели, – продолжал Гёфле, которого профессия и природная склонность делали таким же разговорчивым, как и Кристиано. – Я ничуть не замерз и ежели поем хорошей каши и выкурю трубочку на сон грядущий... Ну-ка, Нильс, поди отнеси что-нибудь в комнату, это тебя займет, и ты отогреешься. Как, ты уже спишь? Еще и семи нет.

– Господин Гёфле, – проговорил мальчик, стуча зубами, – давным-давно уже стемнело, а мне в темноте всегда страшно!

– Страшно! Чего же ты боишься? Полно, не унывай; в это время года день прибавляется на полторы минуты.

Рассуждая так, Гёфле, сухопарый мужчина лет шестидесяти, живой и подвижный, сам повел лошадь в конюшню, тогда как Ульфил убирал сани и сбрую с бубенчиками, а маленький Нильс, сидя на тюках, не переставал ежиться от холода под деревянным навесом, окружавшим двор.

Когда Гёфле убедился, что его дорогой Локи, изящный и благородный конь, которого он назвал именем Прометея скандинавских саг<sup>[8]</sup>, не будет ни в чем терпеть нужды, он уверенным шагом направился к медвежьей комнате.

– Подождите, подождите, господин адвокат, – окликнул его Ульфил, – это не здесь. Комната на двоих, что зовется караульной...

– Это, черт возьми, я и без тебя знаю, – ответил Гёфле, – я там уже ночевал.

– Может статься, да только давно. Сейчас там все в негодность пришло.

– Ну ладно, если она не годится, так приготовь мне постель в медвежьей комнате.

– Как, в комнате, что называют...

Ульф не посмел договорить, столь неслыханной показалась ему мысль Гёфле; однако, набравшись храбрости, он продолжал:

– Нет, господин адвокат, нет, это невозможно, вы шутки шутите! Пойду-ка поищу ключ от той комнатки, может, там получше, дядюшка туда иногда заходит, и коль скоро из нее есть другая дверь в галерею, вам не придется проходить через комнату... ну сами знаете какую...

– Как! Давным-давно уже лестничную дверь замуровали, а за этой комнатой до сих пор еще дурная слава? Знаешь, Ульф, очень уж ты глуп, изволь-ка отпереть дверь сию же минуту. Слишком тут холодно дожидаться, покуда ты сходишь за другими ключами, а у тебя есть...

– Нету их у меня! – завопил Ульфил. – Вот ей-ей, господин Гёфле, нет у меня никаких ключей – ни от медвежатни, ни от караульной.

Препираясь таким образом, Гёфле, в сопровождении неохотно светившего ему Ульфа и Нильса, который шел за ним по пятам, добрался до первых дверей сторожевой башни, внизу которой находилась медвежья комната. Дверь была закрыта на один только наружный засов, и адвокат беспрепятственно проник в темную прихожую, поднялся на три ступеньки и толкнул дверь в комнату, которая поддалась под нетерпеливой рукой и распахнулась настежь с таким жалобным стоном, что Нильс в ужасе попятился.

– Отперта! Она отперта? – завопил Ульфил, побледнев настолько, насколько было способно бледнеть его лоснящееся красное лицо.

– Ну и что с того? – осведомился Гёфле. – Просто, должно быть, Стенсон тут побывал.

– Никогда он сюда не заходит, господин Гёфле. Нет уж, можно не опасаться, он сюда не заглянет!

– Тем лучше, значит, я могу спокойно располагаться, не стесняя его, он даже и не заметит. Но что ты там городишь? Ясное дело, сюда приходят, печь-то вон как пылает!.. А! Теперь я понимаю, в чем дело, сударь мой. Ты сдал внаем эту комнату или пообещал кому-то, кого ждешь. Ну что ж, тем хуже! Раз уж мне не нашлось местечка в новом замке, хоть здесь-то для меня уголок найдется. Не тужи, мой мальчик, я заплачу тебе не меньше всякого другого. Зажги светильники... верней, разыщи для них масла, а потом раздобудь простыни, грелку – словом, все, что надо, да про ужин-то смотри не забудь! Нильс тебе подсобит, он у нас проворный, шустрый, в общем славный малый. Ну-ка, Нильс, поворачивайся; ступай, найди сам ту комнату, где мы должны ночевать, караульню, как ее называет Ульфил. Я-то знаю, где она, только не хочу тебе говорить. Поищи, покажи, что ты малый сообразительный, Нильс!

Но то был глас вопиющего в пустыне. Ульф, стоявший посреди комнаты, словно окаменел, Нильс отогревал руки у печки, и адвокату пришлось устраиваться самому.

Наконец Ульф тяжело вздохнул – от его вздоха, казалось, и мельница завертится – и вскричал крайне возбужденно:

– Вот уж по чести, господин Гёфле, клянусь вечным спасением, никому я этой комнаты не сдавал и не обещал. Как вы могли этакое на меня подумать, зная, что тут водилось, да и сейчас еще водится. Что вы! Да ни за что на свете дядюшка Стенсон не согласился бы вас тут оставить! Пойду скажу ему, что вы приехали, и раз уж за вами не оставили покои в новом замке, так он вам уступит свои в старом.

– Ну, а на это я не соглашусь, – возразил Гёфле, – и вообще не смей говорить ему, что я приехал. Завтра он узнает, что мне и здесь хорошо: караульня маловата, там только спать можно. Эта комната будет мне гостиной и рабочим кабинетом. Она, правда, не очень веселенькая. Но три-четыре дня я проживу здесь спокойно.

– Спокойно! – вскричал Ульф. – Спокойно, там, где нечисть водится?

– С чего ты это взял, дорогой мой Ульф? – с улыбкой спросил доктор прав, меж тем как маленький Нильс дрожал от стужи и от страха.

– А вот с чего, – мрачно и важно ответил Ульф. – Три причины тому есть: во-первых, ворота во двор настежь стояли, а я их своими руками запираю, как солнце село; во-вторых, дверь этой комнаты тоже была открыта, а такого я пять лет не видывал, с тех пор, как хожу убирать и дяде прислуживать; в-третьих – самое немыслимое, что тут уже лет двадцать огня не разводили, если не больше, а вот и пламя полыхает, и печка горячая!.. Наконец... Погодите, господин доктор, ага, вот на полу воску только что накапали, и все же...

– И все же сам ты воску и накапал, потому что фонарь набок наклонил.

– Нет, господин Гёфле, нет, потому что моя-то свеча сальная, а тут под люстрой поглядите-ка!

И, задрав голову, Ульф вскрикнул от ужаса, убедившись, что вместо одиннадцати с половиной свечей в люстре было на одну свечу меньше.

Адвокат был по природе человеком добродушным и жизнерадостным. Вместо того чтобы рассердиться на опасения Ульфила и страхи Нильса, он решил надо всем этим позабавиться.

– Вот как! – сказал он вполне серьезно. – Выходит, здесь поселились кобольды<sup>[9]</sup>, а я всю жизнь только и мечтал с ними познакомиться, но мне так и не довелось ни одного увидеть, и захоти они мне явиться, я только порадуюсь, что выбрал эту комнату, где я буду спать под их любезным покровительством.

– Нет, господин доктор, нет, – воскликнул Ульф, – нет здесь никаких кобольдов; это дурное, проклятое место, вы же сами знаете, такое место, куда озерные тролли<sup>[10]</sup> приходят все переворачивать и портить, как и полагается подобной нечисти; а маленькие кобольды – те



добры к людям и только стараются им услужить. Кобольды охраняют, а не растаскивают. Они ничего не уносят...

– Наоборот, приносят! Все это я знаю, господин Ульф, но почему ты решил, что у меня нет в услужении кобольда, которого я выслал вперед? Он и свечку взял, и огонь развел, чтобы, когда я приеду, здесь было тепло, он и двери заранее поотворял, зная, что ты изрядный трус и мне пришлось бы порядочно прождать; а теперь он еще и тебя проводит и поможет принести мне ужин (у тебя ведь есть такое доброе намерение?), а то, знаешь, кобольды терпеть не могут нерадивых и служат только тем, кто сам готов услужить.

Такое объяснение, казалось, несколько успокоило обоих слушателей; Нильс осмелел до того, что стал удивленно разглядывать своими огромными голубыми глазами потемневшие стены комнаты, а Ульф, передав ему ключ от шкафа в караульне, решил пойти приготовить ужин.

– Послушай, Нильс, – сказал адвокат своему маленькому лакею, – фонарь этот никуда не годен, с ним ничего не увидишь. Успеешь застелить постели, а пока разбери-ка чемодан. Поставь его на стул.

– Но, господин доктор, – возразил мальчик, – мне его и не поднять, он тяжеленный!

– И то правда, там бумаги, а это большая тяжесть.

Адвокат сам с некоторым усилием поставил чемодан на стул, добавив:

– Возьми хоть сундучок с одеждой. Я захватил только самое необходимое, он ничего не весит.

Нильс повиновался, но ему не удалось отпереть висячий замок.

– Я думал, ты половчее! – заметил адвокат несколько нетерпеливо. – Твоя тетка уверяла... Да, кажется, она тебя перехвалила!

– Что вы, я отлично умею открывать незапертые чемоданы! – вскричал Нильс. – А скажите, господин Гёфле, у вас взаправду есть кобольд?

– Что, что? Кобольд? Ах, совсем позабыл. Ты, значит, веришь в кобольдов, мой мальчик?

– Да, если они есть. А они никогда не бывают злыми?

– Никогда, тем более что их вовсе не существует.

– Как так! Вы же сами говорили...

– Говорил, чтобы посмеяться над этим дурнем. А тебя, Нильс, я вовсе не собираюсь воспитывать на подобных глупостях. Знаешь, мне хочется сделать из тебя не только хорошего слугу, но и немножко пообтесать и научить уму-разуму, если сумею.

– Господин Гёфле, а вот тетка Гертруда верит и в добрых духов и в злых!

– Экономка моя в них верит? При мне она этим не хвалится. Подумать только, как морочат нас люди. Она всегда так здраво рассуждает, когда мне удастся поговорить с ней... Да нет, ты шутишь, не верит она в них; просто так сказала, чтобы тебя позабавить.

– И ничуть это не забавно, мне страшно! Я уснуть не мог.

– Ну, тогда она это напрасно. Но что ты там делаешь? Разве так разбирают чемодан, ты же все на пол побросал! Так ли фалунский пастор<sup>[11]</sup> учил тебя прислуживать?

– Но, господин Гёфле, я не прислуживал пастору. Он взял меня, чтобы я играл с его мальчиком, когда тот хворал, вот уж где мы позабавлялись! Целыми днями бумажные лодочки мастерили или лепили саночки из хлебного мякиша!

– Вот как, это надо запомнить! – гневно воскликнул доктор прав. – А Гертруда-то мне говорила, что ты был так нужен в доме!

– О господин Гёфле, я был там очень полезен.

– Ну, еще бы! Для всяких бумажных лодочек да саночек из мякиша! Конечно, это дело полезное, но если в твои годы ты ничего другого не умеешь...

– Нет, господин Гёфле, я умею не меньше, чем всякий другой десятилетний мальчишка!

– Десятилетний, ишь ты, разбойник! Тебе только десять лет? А твоя тетка уверяла, что тебе не то тринадцать, не то четырнадцать! Ну, что там с тобой, глупыш? Чего ты реवेशь?

– Каково мне, господин доктор, коли вы меня браните! Я ведь не виноват, что мне только десять.

– И то верно! Вот твое первое здоровое слово с самого утра, когда мне выпало счастье заполучить тебя в услужение. Полно, утри-ка глаза и нос! Я на тебя не сержусь. Ты рослый и сильный для своих лет, ну и ладно, а чего не умеешь, тому научишься, не так ли?

– Ну конечно, господин Гёфле, я очень хочу!

– А ты скоро научишься? Я ведь нетерпелив, предупреждаю!

– Да, да, господин Гёфле, я быстро-быстро научусь.

– Постель стелить умеешь?

– О, еще бы! У пастора я всегда сам себе стелил.

– Или вовсе не стелил! Ну да все равно, посмотрим.

– Господин Гёфле, когда тетенька нынче утром пришла в Фалун, чтобы отправить меня вместе с вами, она мне сказала: «Ты ничего не будешь делать в замке, куда поедешь со своим хозяином. В замке барона... барона...»

– Вальдемора.

– Да, да, вот именно! «Там красивые комнаты, всегда чисто прибранные, и тьма прислуги, которая все делает. Что господину Гёфле нужно, так это чтобы кто-то был при нем и за него приказывал, он не хочет больше брать Франсуа, потому что его никогда не дозовешься. Вечно он пьет да гуляет с другими лакеями, а господину приходится самому всюду бегать и кликать, чтобы добиться того, что нужно. Ему это неудобно. Господину это страсть как не нравится. А ты будешь умницей, ты его никогда не оставишь, понятно? Распорядишься, чтобы ему подавали, а заодно и тебе подадут».

– Так вот, – сказал доктор, – вот на что ты рассчитывал?

– Еще бы! Я ведь послушный и все понимаю, господин Гёфле, я вас не покину, не побегу за большими дворцовыми лакеями!

– А было бы лучше! Но попробуй-ка сбегай к ним отсюда.

– Разве иначе, как через озеро, в новый замок не попадешь?

– Нет, никак: не то ты бы уже, пожалуй, сидел в компании ливрейных лакеев.

– Да нет, господин Гёфле, раз это вам не нравится. Но до чего же там было красиво внутри!

– Где там? В замке Вальдемора?

– Да, так они называют новый замок... Ой, господин Гёфле, там куда лучше здешнего! А народу-то! Мне совсем не было страшно!

– Отлично, сударь, замок, полный гостей, вскружил вам голову: шум, факелы, позолота, беспорядок, и еды вдоволь! Что до меня, то мне совсем не по вкусу торчать всю ночь на бале и ждать, что наутро я окажусь в первой попавшейся комнате с четырьмя-пятью молодыми болванами, пьяными или драчливыми. Я люблю есть понемногу, но часто и спокойно поспать несколько часов, но чтобы меня никто не тревожил. К тому же я не развлекаться сюда приехал. Барон вызвал меня по важному делу. Мне надобна отдельная комната, свой стол, чернильница и немного тишины. Досадно, если за всем этим праздничным весельем барон позабыл, что я уже не юный студент, падкий до музыки и вальсов! Завтра поутру я скажу ему все, что об этом думаю. Он должен был распорядиться, чтобы мне приготовили то ли это, то ли другое помещение, подальше от шума и от непрошенных посетителей. Я ведь чуть было уже не повернул назад на фалунскую дорогу, видя, как удивились моему приезду лакеи и как они смутились, не зная, куда меня поместить поприличнее, да вот снега испугался, к тому же и Локи был весь в мыле! По счастью, я вспомнил, что в старом Стольборге есть чертова комната, которой все

сторонятся, и поэтому ее никому не предложат. Вот мы и в ней, и нам неплохо. Завтра, Нильс, ты вытрешь пыль и обметешь паутину. Я, знаешь, люблю чистоту.

– Да, господин Гёфле, я Ульфю скажу, а то я слишком мал, чтобы пообметать все наверху.

– Да, верно. Попросим Ульфа.

– Но скажите, господин Гёфле, почему эту комнату называют медвежьей?

– Что ж, название как название, – ответил Гёфле, который, погрузившись в раскладывание бумаг по ящикам письменного стола, счел совершенно излишним объяснять Нильсу вопросы геральдики.

Однако он вскоре заметил, что на мальчике лица нет от страха.

– Послушай, да что с тобой? – спросил он нетерпеливо. – Ты только ходишь за мной по пятам и ни в чем мне не помогаешь.

– Я медведей боюсь, – отвечивал храбрый Нильс, – вы с пастором в Фалуне насчет большой медведицы разговаривали, я все слышал!

– Я? О большой медведице? Ну конечно же, пастор астрономией занимается, вот мы и говорили... Успокойся, храбрый юноша. Видишь ли, речь шла о созвездии Большой Медведицы, что на небе.

– Ах, так большая медведица на небе, – воскликнул обрадованный Нильс. – Значит, тут ее нету? Она не придет к нам сюда?

– Нет, нет, – смеясь, сказал адвокат. – Она слишком далеко, слишком высоко! Если бы ей вздумалось спуститься, она бы себе лапы поломала. Ну, теперь ты не будешь ее бояться?

– Ни чуточки! Только бы она не свалилась оттуда.

– Ба! Видишь ли, она там, наверху, крепко-накрепко прибита семью алмазными гвоздиками презрядных размеров.

– Наверное, боженька ее приколотил туда за то, что она была злая?

– Должно быть, так! Теперь тебе не страшно?

– О нет, – сказал Нильс, пренебрежительно пожимая плечами.

– Тогда пойди скажи Ульфю...

– Господин Гёфле, вы еще о каком-то Снеговике говорили!

– Ах, вот что! Ты, видно, ничего не пропускаешь мимо ушей? Хорошенькое дело!

– О да, господин Гёфле, – простодушно согласился Нильс, – я ко всему прислушиваюсь.

– Что же такое, по-твоему, Снеговик?

– Не знаю. Пастор вам тихонечко говорил со смехом: «Вот вы и повидаете Снеговика!»

– Очевидно, он имел в виду гору, которая так называется.

– Ну уж нет! Ведь вы спросили: «А у него все та же прямая походка?» А пастор в ответ: «Он все охотится у себя на озере». О, я шведский не хуже далекарлийского понимаю!

– Из чего ты и заключил...

– Что по озеру, через которое мы сейчас ехали, расхаживает большущий снежный человек!

– Так, так, а за ним следом ковыляет большой медведь! У тебя, братец, воображения хоть отбавляй! Медведь-то белый или черный?

– Не знаю, господин Гёфле.

– Это не мешало бы выяснить, прежде чем мы усядемся ужинать в этой комнате. А вдруг они придут и сядут за стол вместе с нами?

Нильс увидел, что Гёфле над ним подтрунивает, и рассмеялся. Доктор уже собирался порадоваться, что успешно излечил детские страхи, как вдруг Нильс, снова притихший, сказал:

– Уйдемте лучше отсюда, господин Гёфле! Такое худое место.

– Превосходно! – в сердцах вскричал адвокат. – Вот и возись после этого с детьми! Я-то стараюсь ему растолковать, что Медведица – это созвездие, а он еще пуще пугается!

Видя, что хозяин недоволен, Нильс снова принялся утирать слезы. Это был балованный и пугливый мальчик. Гёфле, по натуре человек добрый, вбил себе в голову и то и дело повторял, что не любит малышей, и утешался тем, что пусть он в свое время не женился и не завел детей, зато не обременил себя ответственностью за их будущее и в полной мере сохранил свободу мыслей. Однако большая чувствительность, которой он был наделен от природы и которая незаметным образом выросла под влиянием душевных порывов и тревог, связанных с его профессией, привела к тому, что огорчения и слезы слабых существ стали для него просто невыносимы. Настолько, что, ворча на глупого мальчишку, одолеваемый страстью к хитроумным ученым спорам, помогающим выигрывать дела, когда обращаешься ко взрослым, но портящим все, когда говоришь с детьми, он попытался утешить и успокоить малыша и даже пообещал, что если большая медведица появится в дверях, он пронзит ее шпагой, но в комнату войти не даст.

Гёфле простил себе то, что он сам называл дурацким снисхождением, и уже обдумывал занимательный рассказ о вечере в Стольборге, на потеху своим приятелям из Гевалы.

Между тем Ульф не возвращался. Гёфле понимал, что не так-то просто найти чем поужинать в довольно скромном хозяйстве Стенсона, но оставить гостя без света было непросительным упущением.

Остаток свечи в фонаре уже догорал, но адвокат, у которого всегда были чистые руки и безукоризненные манжеты, не решался притронуться к этому мерзкому фонарю и осветить комнату. Ему, однако, пришлось это сделать, чтобы взглянуть, нет ли в соседней комнате какой-либо еды и свечного огарка в шкафу, ключ от которого ему оставил Ульф. Нильс последовал за ним, держась за фалду его сюртука.

Обе комнаты, представлявшие для господина Гёфле все удобства смежных покоев, разделялись очень толстой стеной, в которой были две массивные двери. Гёфле отлично знал замок, но так давно не бывал в нем, что не сразу отыскал первую из них. Он думал, что она как раз напротив той двери, через которую он вошел, что было бы естественно, но вместо этого она оказалась несколько левее и была скрыта резьбой, подобно той, что Кристиано случайно обнаружил под лестницей и о существовании которой ни доктор, ни Ульфил не подозревали. В этих плотно прикрытых дверях без заметных снаружи замков не было, однако, ничего таинственного: то была просто-напросто тщательно выполненная резьба, которая в северных странах сделалась почти искусством.

Теперь, когда Гёфле стал обладателем спальни с двумя кроватями, заново отделанной лет десять назад и довольно уютной, ему даже не пришлось заглядывать в шкаф. Первое, что попало ему на глаза, была пара тяжелых канделябров, на три свечи каждый. Это было очень кстати: огарок в фонаре угасал.

— Коль скоро мы вполне уверены, что не останемся в темноте, — обратился Гёфле к малышу, — займемся сейчас же хозяйством. Зажги свечу, а я достану из шкафа постели.

Простыни уже лежали на кроватях, но тут Нильс умудрился наполнить всю комнату дымом. Когда же понадобилось застлать постели, которые были непомерно широки, он ничего лучшего не придумал, как забраться на них, чтобы дотянуться оттуда до середины изголовья. Гёфле чуть было не рассердился, но, боясь, как бы снова не полились слезы, примирился с судьбой и сделал постель сам не только себе, но и своему маленькому лакею.

Ему никогда не приходилось этим заниматься, и, однако, он уже с честью справлялся с таким трудным делом, как вдруг из открытых дверей медвежьей комнаты донесся страшный шум. То был резкий, оглушительный и в то же время какой-то нелепый рев. Нильс упал на четвереньки и почел за благо залезть под кровать, тогда как Гёфле, не испытывая страха, но вытаращив глаза и раскрыв рот, с удивлением вопрошал себя, откуда могли появиться такие звуки.

«Если, как я полагаю, — подумал он, — какому-то глупому шутнику взбрело в голову напугать меня таким образом, то у него весьма странная манера подражать рычанию медведя. Ведь

это куда больше напоминает ослиный рев и выходит на редкость точно; но неужто он принимает меня за лапландца, который отродясь не слышал, как кричит осел?»

– Эй, Нильс, – крикнул он, ища своего маленького слугу, – никаких чар тут нет; пойдем поглядим, что там такое!

Но Нильс предпочел бы лучше умереть, чем шелохнуться или ответить, и Гёфле, не зная, куда он девался, решил сам отправиться на разведку.

Он немало удивился, столкнувшись посреди медвежьей комнаты нос к носу с самым настоящим ослом, с таким, каких в Швеции не увидишь, и с такой славной мордой, что никак невозможно было ни рассердиться на него, ни дурно истолковать его посещение.

– Дружок мой, – смеясь, сказал Гёфле, – откуда ты взялся? Что ты делаешь в этих краях и о чем хочешь меня спросить?

Будь Жан наделен даром речи, он ответил бы, что, упрятанный под лестницей, куда никто не удосужился заглянуть, он чуточку вздремнул, доверчиво дожидаясь возвращения хозяина, но, видя, что тот не приходит, и почувствовав сильный голод, потерял терпение и решил порвать очень слабо завязанную веревку, дабы явиться к господину Гёфле с просьбой накормить его ужином.

Последний с большой прозорливостью угадал его мысль, но не мог понять одного: как это Ульф, на чьей обязанности, как он считал, лежало присмотреть за ослом, поместил его в этой страшной стольборгской комнате. На этот счет у него возникло множество предположений. Поскольку ослы в северных странах большая редкость, барон, обладавший оленьей упряжкой – другой редкостью в этих краях, слишком холодных для ослов, но недостаточно холодных для оленей, – должно быть, уж очень дорожил им и поручил сторожам старого замка за ним ухаживать и держать его в хорошо натопленном помещении.

– Вот почему и печь топилась, – объяснил сам себе Гёфле. – Но для чего Ульфу понадобилось делать вид, что в комнате нечисть водится, вместо того чтобы попросту сказать мне всю правду? Вот чего я себе объяснить не могу. Может, ему велено было соорудить конюшню *ad hoc*<sup>2</sup>, а он этого не сделал и, желая скрыть свою нерадивость, понадеялся отвести меня от этой комнаты или подумал, что я не замечу присутствия странного постояльца... Как бы то ни было, – добавил Гёфле, приветливо обращаясь к Жану, вид которого его забавлял, – прошу меня извинить, мой бедный ослик, но я не намерен держать тебя рядом с собою. У тебя чудесный голос, а у меня очень чуткий сон. Отведу-ка я тебя на эту ночь к Локи: его соседство тебя обогреет, и ты разделишь с ним ужин и подстилку. Нильс! Поди сюда, мой мальчик, посвети-ка мне до конюшни.

Не получив никакого ответа, Гёфле вынужден был возвратиться в караульную, раскрыть убежище Нильса, извлечь его оттуда за ногу и насильно усадить на спину осла. Сперва Нильс дико орал, думая, что его посадили верхом на чудовищную медведицу, тем более что в жизни он никогда не видывал ослов и длинные уши Жана пугали его не менее рогов дьявола; но мало-помалу он успокоился, видя, как осел покладист и кроток. Гёфле дал ему трехсвечный канделябр, а сам потянул Жана за веревку, и все трое вышли из башни, направляясь к конюшне по деревянной галерее с замшелым навесом, окружавшей покрытый снегом двор.

В ту самую минуту Ульф выходил из флигеля, где жил его дядюшка, и направлялся к башне, неся в одной руке фонарь, в другой – большую корзину, содержащую все необходимое для сервировки ужина адвокату. Насколько раньше Ульфу не хотелось возвращаться в медвежью комнату, настолько теперь он стремился туда. Им овладела непреодолимая тяга к человеческому обществу, как то бывает с людьми, доведенными до ужаса своим одиночеством. Вот что приключилось с Ульфом.

---

<sup>2</sup> Для этого случая (*лат.*).



Как истый швед, Ульф был сама приветливость, само радушие, однако за несколько лет пребывания в мрачной стольборгской лачуге в обществе глухого, угрюмого человека бедный Ульф стал до того суеверным и трусливым, что после захода солнца всегда забирался к себе в комнату, решив раз навсегда, что даст замерзнуть в снегах и льдах любому, чей голос покажется ему хоть сколько-нибудь подозрительным. Если бы Гёфле не нашел ворота замка открытыми увесистым кулаком Пуффо и если бы Ульф не узнал голоса адвоката во дворе, почтенному законоведу пришлось бы, конечно, поворотить в новый замок с его сутолокой и шумом, которых он так боялся.

Водворив его в башне, Ульф несколько успокоился. Он подумал даже, что все к лучшему, ибо если уж Гёфле хочет повстречаться с чертом, то это его дело, и что лучше принять его здесь, нежели быть вынужденным сопровождать обратно в новый замок; это распоряжение означало бы, что бедному проводнику выпадет печальная необходимость возвращаться одному через озеро, где водятся страшные духи. По счастью, старый смотритель Стольборга, человек хилый, зябкий, привыкший рано укладываться спать, заперся в своем флигеле, расположенном в глубине второго двора, с окнами, выходящими на озеро, а не в первый двор. Поэтому спал Стенсон или нет, он, по всей видимости, никак не мог догадаться о присутствии гостя ранее завтрашнего утра. По зрелом рассуждении, Ульф решил не предупреждать его и как можно лучше самому приготовить ужин для господина Гёфле. Стенсон, человек весьма умеренный, был, однако, предметом самого пристального внимания со стороны своего хозяина барона де Вальдемора (владельца, как мы знаем, нового замка и старой сторожевой башни), который раз и навсегда строжайше наказал новому управляющему, чтобы тот заботился о благополучии своего старого и верного слуги.

Ульф был не прочь хорошо пожить, и, заметив, что дядюшка по своей скромности и порядочности отсылает обратно весь излишек пищи, которую ему приносили из нового замка, сумел подстроить все так, что получал еду без ведома дяди. На кухне у него был особый тайник, где он припрятывал свои гастрономические богатства, да еще небольшой погребец, выдолбленный в скале, прохладный летом и довольно теплый зимой, где за пустыми бочками были сложены бутылки со старыми винами, разумеется, большая ценность в стране, где виноград – растение тепличное.

Ульф не отличался жадностью, это был честный малый, и ни за что на свете он не стал бы извлекать доход из подарков, которые барон делал дядюшке. Сердце у него было доброе, и когда ему случалось оставить у себя товарища, он потихоньку делился с ним своими заветными бутылками и был рад пить не в одиночестве, что всегда тоскливо. Однако появление в башне, – правда, не медведицы, как думалось Нильсу, а печального призрака, – было вещью столь очевидной, что бедный Ульф никогда не задерживал друзей после захода солнца. Вот тогда-то он и решался приложиться для бодрости, и после этого ему начинали мерещиться злые тролли и *стрёмкарлы*<sup>[12]</sup>, пытающиеся утащить свои жертвы и столкнуть их в поток. Должно быть, для того, чтобы побороть искушение последовать за ними, рассудительный Ульфил напивался до того, что ноги переставали его слушаться. Находились, конечно, в многочисленной свите барона просвещенные вольнодумцы лакеи, не верившие ни во что, но Стенсон всех их ненавидел в большей или меньшей мере, и его племянник Ульф разделял эту неприязнь.

Таким образом, Улфу Стенсону было из чего сготовить славный ужин для господина Гёфле, а он горазд был жарить да варить. К тому же и веселость адвоката несколько подбодрила его, и он собирался непринужденно поболтать, прислуживая ему; но все его радостные мечты были развеяны какими-то странными звуками, точно кто-то шарил между стен, точно что-то потрескивало в деревянной резьбе; не один раз сковорода падала из рук Ульфа, и на секунду ему показалось, что какой-то пересмешник за его спиной передразнивает его вздохи. Он простоял добрых три минуты, не смея вздохнуть и тем более оглянуться.

Вот почему он так медленно готовил столь вожаденный ужин. В конце концов, справившись кое-как со своим поручением, он спустился в погреб за вином. Но там его ждали новые страхи. В ту самую минуту, когда с достаточным запасом еды он выходил из своего святилища, мимо него проскользнула большая черная тень. Фонарь погас, и те же загадочные шаги, напугавшие его на кухне, быстро простучали раньше него по ступенькам. Ульф едва не потерял сознания; но он еще раз поборол испуг и добрался до кухни, где оставил кастрюли довариваться на плите, а сам решил полечиться от страхов у господина Гёфле под тем предлогом, что пора было накрывать на стол.

И вот, когда, нагруженный всей кухонной утварью, Ульф шел по деревянной галерее, он оказался лицом к лицу со странным видением, которое было не кем иным, как доктором прав в ночном колпаке, тащившим за уздечку странное, невероятное животное, какого, как истый далекарлийский крестьянин тех времен, Ульф и в глаза не видывал, а может, и не слыхивал о таком. И на этом звере, тень от огромных ушей которого протянулась через всю галерею, сидел ярко-красный дьяволенок, держа в руке подсвечник с тремя свечами. Это был тот, кого Гёфле выдавал за лакея, но это, разумеется, был не кто иной, как кобольд, тот самый домовый, который, по хвастливым заверениям адвоката, всегда был к его услугам.

Это было уже слишком для бедного Ульфа. Он испытывал почтение к коболям, но видеть их вовсе не желал. Ослабевшей рукою он опустил корзину наземь и, повернув в другую сторону, направился к себе в комнату, поклявшись спасением души, что в течение ночи не выйдет оттуда, даже если адвокат помрет с голоду, а его ужин сожрет черт.

Поэтому-то Гёфле совершенно напрасно пытался дозваться его. Ульф не отвечал, и тогда адвокат решил отвести осла в конюшню, а на обратном пути забрать брошенную корзину, пройти в медвежью комнату и накрыть на стол с помощью Нильса.

«Право же, – подумал он, – в путешествии нужно быть философом. Вот нашлись стаканы, приборы и тарелки, будем надеяться, что наш лунатик намерен добавить к этому немного пропитания. Подождем, не придет ли ему охота это сделать, ничего другого нам не остается; а пока откупорим бутылки».

Нильс неплохо постелил скатерть, не дал погаснуть очагу, и Гёфле пришел в свое обычное хорошее расположение духа, когда Нильс вдруг совсем обмяк и стал тыкаться во все углы – неоспоримое свидетельство того, что на него напала сонливость.

– А ну-ка встряхнись немножко, – сказал адвокат, – надо поесть. Ты, должно быть, проголодался.

– К сожалению, да, господин Гёфле, – отвечал мальчик, – но меня так клонит ко сну, что мне не дожидаться, когда вам подадут и вы отужинаете. Тут есть хлеб и варенье из ежевики, дайте мне немножко, после этого я смогу вам прислуживать.

Гёфле сам открыл баночку с вареньем; Нильс бесцеремонно уселся на хозяйское место, тогда как адвокат отогревал ноги, зачоченевшие после похода на конюшню. Гёфле обладал в равной мере и живым воображением, и даром слова. Когда не представлялось случая поболтать, он или что-нибудь обдумывал, или спешил предаться радостным мечтам. И вот через четверть часа он опять почувствовал голод и обернулся, чтобы поглядеть, не пришел ли наконец Ульф с чем-нибудь посущественнее, чем варенье; но вместо этого увидел лишь маленького Нильса, который сладко спал, положив голову на стол и уткнувшись носом в тарелку.

– Эй, – прикрикнул он, трясая мальчишку за плечи. – Ты поел, ну, а поспишь потом. Надо и обо мне подумать; пойдй взгляни, что же Ульф...

Но все старания Гёфле были напрасны. Разморенный необоримым детским сном, Нильс стоял с блуждающим взглядом и покачивался, как пьяный. Гёфле пожалел его.

– Ладно уж, ступай ложись, – сказал он, – раз ты ни на что не годен!

Нильс направился к караульне, оперся о косяк двери и там притулился, продолжая спать стоя. Пришлось довести его до кровати. Но тут возникло еще одно затруднение: у него не

хватило сил снять с себя гетры. Гёфле сам стянул их с мальчишки, что было нелегко, так как они были в обтяжку, а ноги обмякли от сна.

Гёфле хотел было его уложить, но глупыш залез на постель совсем одетым.

– Черт бы тебя побрал! – выругался он. – Для того ли я тебе роскошную ливрею заказывал, чтобы ты в ней спал? Ну-ка, живо, вставай, потрудись хотя бы раздеться!

Нильс, насильно поставленный на ноги, делал тщетные попытки расстегнуть пуговицы. Тетка Гертруда, на радостях, что ей не отказывают в средствах на обмундирование юного лакея, не посоветовалась с его будущим господином и заказала племяннику лосины и куртку красного сукна, так точно пригнанные, что он был в них втиснут, как в панцирь, и Гёфле немалого труда стоило его оттуда извлечь. Во время всей этой процедуры мальчишка дрожал от холода, и поэтому адвокату пришлось сесть у камина и усадить его к себе на колени. Хотя Гёфле и злился и проклинал Гертруду за то, что та снабдила его таким слугой, чувство простой человечности не позволило ему дать мальчику замерзнуть. К тому же детское простодушие Нильса совершенно его обезоруживало. На все упрёки хозяина тот наивно отвечал:

– Завтра я вам хорошо послужу, вот увидите, господин Гёфле, и я вас буду очень любить!

– Так, так, – отвечал наш адвокат, легонько подталкивая его, – ты уж лучше поменьше меня люби, да получше мне служи.

Наконец он уложил Нильса и собирался вернуться к весьма сомнительному ужину, как вдруг мальчик запросто окликнул его и сказал с упрёком:

– Что же, вы меня тут совсем одного оставите?

– Этого еще не хватало! – воскликнул адвокат. – Тебе что, нужно чье-то общество для спанья?

– Господин Гёфле, у фалунского пастора я ведь никогда не спал один в комнате, а тут, когда мне так страшно... ну нет, если вы меня тут оставите, я уж лучше лягу в вашей комнате на полу.

И Нильс, словно очнувшись от сна, как кошка, выскочил из постели и хотел в одной рубашке последовать за хозяином в медвежью комнату. Но тут уж Гёфле окончательно потерял терпение. Он стал бранить его – Нильс заплакал. Хозяин хотел его запереть – Нильс разревелся еще пуще. Тогда доктор прав принял героическое решение.

«Раз уж я сглупил, – подумал он, – сочтя десятилетнего ребенка четырнадцатилетним пареньком, и вообразил, что у Гертруды есть крупница здравого смысла, то мне за это и отвечать. Пять минут терпения, и этот несносный мальчишка уснет; если же я буду ему противиться, он только разгуляется, и тогда бог знает, сколько времени мне придется слушать его вопли и крики».

Он пошел в медвежью комнату за папкой с бумагами, проклиная мальчишку, который последовал за ним босиком и едва дал ему время найти очки; потом он уселся перед огнем в караульной, закрыв за собой двери, поскольку там было не слишком-то тепло, и, спросив Нильса не без ехидства, не спеть ли ему колыбельную, углубился в свои бумаги, позабыв об ужине, который не подавали, и о мальчугане, который уже храпел вовсю.

## II

Что же делал Кристиано, пока господин Гёфле устраивался на ночлег? Читатель, возможно, уже догадался, что резвый домовой, круживший возле бедняги Ульфа на кухне и в погребе в поисках ужина, был не кто иной, как наш путешественник. Огорчения и страхи Ульфила позволили ему выхватить у того чуть ли не из-под носа все самое удобное для переноски съестное, найденное на кухне. В погребе ему меньше повезло. Задув фонарь перетрусившего Ульфа, он сам оказался в полной темноте и испугался, как бы его не заперли голодным в подземелье. И он тут же повернул назад, теша себя мыслью, что ему еще представится удобный случай отобрать у Ульфа его бутылки.

Наш искатель приключений не заметил появления Гёфле. Потратив целых четверть часа на тщательное исследование потайного хода из медвежьей комнаты (об этом ходе мы расскажем позднее), он выбрался из него не без труда и незаметно проник во флигель, занимаемый Стенсоном. Он подумал, что ужин предназначается для старого управляющего. Затем, прежде чем вступить во владение комнатами, которые он для себя выбрал, он хотел добыть корм ослу и побрел по дворику, смежному с галереей. Это было спустя несколько минут после того, как Ульфил испытал последний приступ страха, и поэтому Кристиано не мог насладиться забавным видом Гёфле в ночном колпаке, победно ведущего на конюшню осла, на котором восседал одетый в красное кобольд. Обследовав все помещение, отворяя все не слишком крепко запертые двери, Кристиано наткнулся наконец на двери конюшни и порадовался, увидев, что мэтр Жан с большим аппетитом уплетает ужин и утаптывает толстую подстилку из сухого мха в обществе премиленькой вороной лошадки, очень благожелательно к нему расположенной.

«Воистину, – подумал Кристиано, поглаживая благородного осла, – животные подчас куда разумнее и радушнее людей. За два дня наших скитаний в этих холодных краях Жан бывал предметом изумления, страха или отвращения во многих домах и деревнях, и я сам, вопреки радушию местных жителей, попал в такое место, где обитают духи недоли и тяжких забот, где мне приходится промышлять грабежом, как солдату в походе, а эта вот славная лошадка, не спрашивая Жана, откуда у него такие длинные уши, уступает ему место у кормушки и сразу смотрит на него как на себе подобного. Ладно, Жан, спокойной ночи, приятель! Если я спрошу, кто тебя сюда привел и сытно накормил, ты, может быть, не удостоишь меня ответом, а если бы я не видел, что ты привязан на веревке, то подумал бы, что у тебя хватило ума самому сюда явиться. Как бы то ни было, я поступлю как ты и поужинаю, не забывая о завтрашнем дне».

Кристиано запер конюшню и вернулся в медвежью комнату, где его ждала приятная неожиданность в виде накрытого стола; сервировка поражала красивой посудой, тяжелым серебром и белоснежной скатертью, если не считать нескольких пятен от варенья, которые Нильс оставил возле своей тарелки.

– Подумать только, – весело заметил наш чужестранец, – они не то кончили десертом, не то начали с него! Но кто же, черт возьми, обосновался тут в мое отсутствие? Пуффо не настолько избалован, что стал бы накрывать на стол; в дороге он к такому не привык. К тому же он отправился искать удачи в новый замок, иначе бы я с ним столкнулся, осматривая старый. Да я никогда и не рассчитывал на помощь этого приятеля. Если он нашел где-то на кухне уголок за столом, я уверен, что он обо мне и думать забыл, и я отлично сделал, позаботившись о себе сам. Как-никак, если он случайно вернется сюда ночевать, нельзя же, чтобы бедняга замерз у ворот.

Кристиано отпер ворота во двор, которые Ульф успел запереть после приезда Гёфле, и вернулся с твердым намерением сесть за стол с кем угодно, будь то по доброй воле или по принуждению.

«Это мое право, – убеждал он себя, – стол пуст, а я принес, чем его приятно заполнить. Если меня ждет сотрапезник, лишь бы он оказался приветливым, и мы не поссоримся; если нет, поглядим, кто кого выставит».

Рассуждая так, Кристиано пошел взглянуть, не тронул ли кто его пожиток. Он нашел их в порядке в углу, куда он их спрятал и где они остались незамеченными. Тогда он стал разглядывать сундук, чемодан и вещи, разбросанные на стульях, тщательно сложенное белье, которое, видно, собирались убрать в шкаф, парадное платье, раскинутое на спинках кресел, чтобы оно отвиселось; наконец – пустой чемодан, на крышке которого он прочел: «Господин Тормунд Гёфле, адвокат в Гевале и доктор прав Лундского университета».

«Адвокат! – подумал наш герой. – Что же, это хорошо звучит – адвокат! Адвокатом не станешь, если нет ума и таланта. Вот кто составит мне приятную компанию, если у него хватит здравого смысла не судить о человеке по одежке. Но куда же этот адвокат запропастился? Должно быть, он тоже был приглашен на праздники в замок Вальдемора и так же, как я, нашел дом переполненным или по своему вкусу избрал себе приютом этот романтический замок. Нет, скорее всего человек этот – поверенный в делах богатого барона, ибо в этой стране сословных предрассудков и скрытой ненависти вряд ли приглашают людей незнатных на дворянские увеселения. Но какое мне дело! Адвокат ушел, это бесспорно. Должно быть, он беседует со старым управляющим, или он в той комнате с двумя кроватями, о которой мне говорили и двери в которую не видно. Поискать? Но, возможно, он уже лег? Пожалуй, это вернее всего. Ему хотели подать ужин, он отказался, довольствуясь вареньем и желая только поскорее добраться до постели. Пусть же сей достойный муж мирно спит! Я отлично устроюсь в этом глубоком кресле, а если мне станет холодно, черт побери, вот великолепная меховая шуба и дорожная кунья шапка – и тело в тепле, и уши не замерзнут. Поглядим, удобно ли мне будет! О, и даже очень, – решил Кристиано, натягивая шубу и нахлобучивая шапку. – Как вспомню, что я десять лет занимаюсь серьезным делом, а надеть все нечего, и плаща-то добротного нет, особенно теперь, когда приходится блуждать по земле гипербореев<sup>[13]</sup>!»

Кристиано разложил на столе еду: весьма заманчивый гамбургский язык, искусно копченый медвежий окорок и чудесный кусок копченой лососины.

Он собирался уже сбросить с плеч шубу доктора, чтобы удобнее было есть, когда сквозь единственное окно медвежьей комнаты донесся вдруг звон бубенчиков. У этого большого окна напротив печи были все же двойные рамы, как во всех зажиточных домах северян, и старинных и новых; однако наружная рама пришла в полную ветхость и говорила о запустении Стольборга. Почти все стекла были выбиты, и так как ветер стих, звуки снаружи доносились очень отчетливо: и глухой таинственный гул, с каким недавно выпавший обильный снег отделялся от нижних затвердевших слоев и обрушивался с отвесных утесов, и отдаленные голоса с хутора на берегу озера, и жалобный вой собак, встречавших невнятные проклятиями красный диск луны на горизонте.

Кристиано из любопытства захотелось взглянуть на сани, бороздившие озерный лед совсем близко от его убежища; открыв первую раму, он высунул голову наружу через разбитое окно. Он отчетливо различил сказочное видение, скользившее у подножия скалы. Два прекрасных белых коня, которыми правил бородатый кучер, одетый на русский лад, мчали сани, сверкавшие как драгоценные камни и отливавшие то одним, то другим цветом. Фонарь, высоко подвешенный над изящным возком, походил на звездочку, гонимую вихрем, или, скорее, на блуждающий огонек, догоняющий санки. Свет его, подобно свету червонного золота, лился вперед и отбрасывал теплые отблески на снег, голубевший под луною, и всеми цветами радуги расцветивал пар, вившийся под ноздрями и над спинами коней. Ничто не могло сравниться по легкости и поэтичности с этим возком на полозьях; казалось, что сама озерная фея промчалась, как сновидение, перед ослепленным взором Кристиано. Разумеется, проезжая через Стокгольм и другие города страны, он перевидал немало саней, от самых роскошных до самых скромных;



но ни одни не выглядели столь живописно и необычно, как те, что остановились у подножия скалы; ибо теперь уже сомневаться не приходилось: новый гость, на сей раз богатый, приехал вступить во владение или просто познакомиться с безмолвной стольборгскою твердыней.

«Санями я налюбовался вдоволь, – подумал Кристиано, – но черт бы побрал тех, кто в них сидит. Готов побиться об заклад, что это серьезная помеха мирному ужину, на который я рассчитывал».

Но проклятия растаяли на губах Кристиано: чей-то высокий, нежный и на редкость певучий голос, какой мог принадлежать только очаровательной женщине, послышался из саней. Он звучал на языке, незнакомом Кристиано; это было местное наречие:

– Как ты думаешь, Петерсон, лошади смогут подняться до ворот старого замка?

– Да, барышня, – отвечал толстый кучер, закутанный в меховой тулуп. – По рыхлому снегу-то, надо полагать, им трудновато будет, но тут уж до нас проехали: виден свежий след, не бойтесь, въедем.

Подступы к Стольборгу, которые Гёфле назвал буграми, состояли из настоящей естественной лестницы, образованной слоистыми и неровными пластами породы. Летом тут опрокидывались и лошади и повозки, но в северных странах зима делает все дороги проезжими, а всякого путника отважным. Толстый наст обледеленого снега, плотного и ровного, как мрамор, заполняет ямы и сглаживает ухабы. Лошади, соответственно подкованные, вскарабкиваются на вершины и уверенно спускаются по крутым склонам; сани редко переворачиваются, но даже когда это случается, опасность обычно никому не грозит. Через несколько минут наш возок был уже у ворот маленького замка.

– Надо позвонить тихонько, – приказал нежный голосок кучеру. – Знаешь, Петерсон, мне бы не хотелось, чтобы старый управитель видел меня; может быть, он обо всем докладывает хозяину.

– Да он совсем глухой, – ответил кучер, слезая с саней в снег. – Ульф не проболтается, он мне друг. Лишь бы ему была охота отворить! Он малость робеет к ночи; оно и понятно, замок-то...

Петерсон, должно быть, заговорил бы о стольборгских привидениях, да не успел. Ворота распахнулись как бы сами собой, и Кристиано, выглядевший не хуже кучера благодаря адвокатской шубе и меховой шапке, показался на крыльце.

– Ну вот и он, – сказал тихий голос, – остановись тут, Петерсон, и, прошу тебя, сними бубенчики с лошадей. И, как я уже тебя просила, запасись терпением, хоть я и не очень тебя задержу.

– Не торопитесь, барышня, – отвечал верный слуга, отряхивая ледяные сосульки с бороды, – вечер-то нынче выдался на славу!

Кристиано ни слова не понял из разговора, но тем не менее с восторгом внимал нежному голосу. Он подал руку маленькому созданию, до того укутанному в горностаи, что оно больше походило на снегурочку, чем на человеческое существо. Девушка обратилась к нему на далекарлийском наречии, так что он не мог понять, что она ему велит; а в том, что она давала распоряжения, у него сомнений не было, хотя голос звучал мягко. Видно, его приняли за сторожа старого замка, а коль скоро распоряжение ни в одной стране не требует иного ответа, кроме немого почтительного поклона, то Кристиано был избавлен от необходимости делать усилия – понимать и отвечать во время недолгого перехода с молодой дамой по галерее от ворот до дверей башни.

Ведя ее к медвежьей комнате, Кристиано повиновался чувству гостеприимства, не зная, оценит ли она его доброе намерение. Выбежав ей навстречу, он повиновался также и чувству любопытства, и к этому примешивалось еще желание понравиться, очень сильное в те времена у молодых и пожилых мужчин, к какому бы сословию они ни принадлежали.

Между тем молодая дама, следовавшая за своим проводником, невольно удивилась, оказавшись в знаменитой медвежьей комнате.

– Это и есть медвежья комната? – спросила она с некоторым беспокойством. – Я здесь никогда не бывала.

А так как Кристиано ничего не понял и потому ничего не ответил, она взглянула на него при свете единственной свечи, стоявшей на столе, и воскликнула теперь уже по-шведски:

– Ах, боже мой! Это не Ульфил! С кем же я имею честь говорить? Может быть, это сам господин Гёфле?

Кристиано, превосходно понимавший и свободно изъяснявшийся по-шведски, тотчас вспомнил имя, написанное на чемодане доктора, и столь же быстро сообразил, что, укутанный в одежду, заимствованную у вышеназванного адвоката, он мог недурно развлечься, хотя бы на миг разыграв его роль. Чужеземец, одинокий, затерянный в стране, чьим языком он владел в силу особых обстоятельств, о которых мы узнаем позднее, но где не имел привязанностей и мог не принимать жизнь всерьез, он счел естественным позабавиться там, где представлялась такая возможность. И смело и наудачу ответил:

– Да, сударыня, я действительно Гёфле, доктор прав Лундского университета, занимаюсь адвокатской практикой в Гевале.

Говоря так, он нащупал валявшийся рядом футляр от очков и поспешно раскрыл его. То были зеленые очки, которые адвокат надевал, чтобы защитить глаза от утомительной белизны снегов. Восхищенный этой находкой, которую Провидение дарит порою безрассудным людям, он нацепил очки на нос и почувствовал, что полностью преобразился.

– Ах, господин доктор, – сказала незнакомка, – приношу вам тысячу извинений, я вас не разглядела; к тому же прежде я не имела удовольствия встречаться с вами и приняла вас за стольборгского стража; именно ему-то я и велела разузнать, пообещав известное вознаграждение, что вам, верно, показалось смешным, не могли бы вы найти несколько минут для беседы со мною.

Кристиано почтительно поклонился.

– Итак, – продолжала незнакомка, – вы мне позволите изложить вам одно дело... немного затруднительное... щекотливое?

Эти два слова прозвучали столь заманчиво для ушей чужеземца, что он позабыл, какую изрядную помеху его ужину нанес сей неожиданный визит, и теперь хотел только одного: увидеть лицо посетительницы, скрытое под горностаевым капюшоном.

– Я вас слушаю, – отвечал он, напуская на себя строгий тон. – Адвокат – это духовник... Но не боитесь ли вы, если останетесь сейчас в шубе, схватить потом насморк, выйдя на воздух?

– Нет, – ответила незнакомка, усаживаясь в кресло, которое ей пододвинул хозяин, – я настоящая жительница гор и никогда не простужаюсь.

И тут же простодушно добавила:

– К тому же вы, может быть, найдете, что я неуместно одета для беседы, которую испросила у столь важного и почтенного лица, каким являетесь вы, господин Гёфле: я в бальном платье.

– Боже мой! – опрометчиво воскликнул Кристиано. – Я вовсе не старый чопорный ханжа, бальным платьем меня не смутить, особенно когда оно надето на хорошенькой женщине.

– Вы очень любезны, господин Гёфле, но я не знаю, хороша ли я и нарядно ли одета. Я понимаю, что не нужно прятать от вас лицо, ибо всякое недоверие к вам было бы оскорблением вашей честности, к которой я прибегаю, прося у вас совета и покровительства.

Незнакомка отстегнула свой капюшон, и Кристиано увидел самую очаровательную головку, какую только можно вообразить, настоящий нордический тип: синие, как сапфиры, глаза, тонкие и пышные светло-золотистые волосы, нежный и свежий цвет кожи, какого не встретишь у других народов; из-под запахнутой шубки виднелись стройная шея, белоснеж-

ные плечи и гибкая талия. Все это дышало чистотою, как само детство, ибо миловидной гостье было не более шестнадцати лет и она еще не перестала расти.

Кристиано не принадлежал к числу отшельников; он был человеком своего времени, но вместе с тем не перенял распушенности той среды, куда его забросила судьба. Он был умен, а потому скромен и прост. Он спокойно и доброжелательно взглянул на эту северную красавицу, и если прежде у него мелькнула коварная мысль завлечь девушку в медвежью берлогу, то мысль эта сразу же уступила место жажде приключения, романтического и увлекательного, но вполне честного, и этой честностью дышало милое и простодушное личико его юной гостьи.

– Господин Гёфле, – продолжала она, ободренная вежливым обращением мнимого адвоката, – когда вы увидели мое лицо и убедились, что оно принадлежит отнюдь не злодейке, я должна назвать свое имя. Имя это вам хорошо известно. Но меня смущает, что вы стоите, тогда как я заняла единственное кресло в этой комнате. Мне известно, сколь вы уважаемы... Сколь уважаемы ваши достоинства, я чуть было не сказала – ваши годы, потому что, сама не знаю почему, привыкла считать вас очень старым, а вы, как я вижу, намного моложе барона.

– Вы оказываете мне большую честь, – сказал Кристиано, надвигая на глаза и шею меховую шапку со спущенными ушами, – я стар, очень стар! Молодым во мне может казаться лишь кончик носа, и я прошу прощения, что не снимаю шапки в вашем присутствии; но ваше посещение застало меня врасплох. Я снял парик и вынужден прятать свою лысину.

– Пожалуйста, без церемоний, господин Гёфле, и соблаговолите сесть.

– Если вы позволите, я останусь стоять у печки, меня мучит подагра, – ответил Кристиано, который, таким образом, оказался в тени, тогда как скудный свет свечи падал прямо на собеседницу. – Разрешите узнать, с кем имею честь...

– Да, да, – с живостью отозвалась она. – О! Вы меня хоть и не встречали, но прекрасно знаете! Я Маргарита.

– Ах, вот как! – воскликнул Кристиано тем же тоном, каким признался бы: «Мне это ровно ничего не говорит».

К счастью, девушка поторопилась объясниться.

– Да, да, – продолжала она, – Маргарита Эльведа, племянница вашей клиентки.

– А! моей клиентки...

– Графини Эльведа, сестры моего отца, полковника, того, что был другом несчастного барона.

– Несчастного барона?..

– О господи, барона Адельстана, имя которого я не могу произносить без волнения в этой комнате, того, что был убит фалунскими рудокопами... или кем-то другим! Ибо, в конце концов, кто знает, сударь! Уверены ли вы, что это были рудокопы?

– О, что до этого, барышня, то уж если кто может поклясться честью, что ничего об этом не знает, так это ваш покорный слуга, – ответил Кристиано проникновенным тоном, который она истолковала по-своему и, казалось, была глубоко потрясена.

– Ах, господин Гёфле, – живо воскликнула она, – я так и знала, что вы разделяете мои подозрения! Нет, ничто не разуверит меня в том, что все эти трагические смерти, о которых говорили и сейчас еще шепчутся... Но мы здесь совсем одни? Нас никто не может услышать? Это так серьезно, господин Гёфле!

«Действительно, дело представляется серьезным, – подумал Кристиано и пошел взглянуть, закрыта ли входная дверь, стараясь подражать старческой походке, – только я тут ничего не понимаю».

Он оглядел комнату и опять не заметил двери в караульную, которая была закрыта и отделяла Гёфле от двух наших собеседников.

– Так вот, милостивый государь, – продолжала молодая девушка, – понимаете ли вы, что тетя хочет выдать меня замуж за человека, в котором я не могу не видеть убийцу моих близких?

Кристиано, не имевший ни малейшего понятия, о чем идет речь, решил дать своей новой клиентке разговориться, показав, что он на ее стороне.

– Не иначе, – заявил он несколько развязно, – как ваша тетушка сошла с ума... Или с ней еще что-нибудь похуже!

– Ах, что вы, господин Гёфле, тетю мою я уважаю и виню ее только в известном ослеплении или предубеждении.

– Ослепление это или предубеждение – не суть важно, но я ясно вижу, что она не желает считаться с вашей склонностью.

– О, это правда, я ведь не терплю барона! Она вам этого не говорила?

– Напротив! Я полагал...

– О, господин Гёфле, могли ли вы поверить, что в мои лета мне мог понравиться пятидесятипятiletний старик?

– Подумать только! Вашему нареченному, оказывается, к тому же еще пятьдесят пять?

– Вы так говорите, будто сомневаетесь в этом, господин Гёфле! Но ведь вам-то отлично известен его возраст, вы же его советчик и, говорят, его преданный друг... Только я не могу этому поверить.

– Черт возьми! Вы совершенно правы. Пусть меня повесят, если он для меня что-нибудь да значит. Но как вы назвали этого господина?

– Барона? Вы, что же, не знаете, о ком я говорю?

– Конечно, нет. Мало ли баронов на свете.

– Но тетя же сказала вам...

– Ваша тетя, ваша тетя! Почему я знаю, о чем толкует ваша тетя. Она, может быть, и сама того не знает.

– Увы! Простите меня: уж она-то это слишком хорошо знает! У нее железная воля. Невозможно, чтобы она не посвятила вас в свои планы насчет меня, она ведь уверяет, что вы их одобряете!

– Одобрить, что столь прелестное дитя приносится в жертву старому хрычу?

– Ах! Вот видите, вы же знаете возраст барона!

– Но какого барона все-таки?

– Какого барона? Что же, я должна вам назвать Снеговика?

– Ах! Ну да! Речь идет о Снеговике? Ну, что ж, признаюсь, мне это ничего не говорит.

– Как, господин Гёфле, вам неизвестно прозвище самого могущественного, самого богатого и в то же время самого злого, самого ненавистного из ваших клиентов, барона Олауса Вальдемора?

– Что! Хозяина этого замка?

– И нового замка, по ту сторону озера, и невесть скольких железных и свинцовых рудников, а также залежей квасцового сланца и многих долин, лесов и гор, не считая полей, стад, хуторов и озер; наконец, владельца едва ли не десятой части всей далекарлийской провинции! Вот те доводы, о которых тетя мне твердит с утра до вечера, чтобы я позабыла о том, что он уныл, стар, болен и, может быть, отягощен преступлениями!

– Черт побери! – воскликнул Кристиано в крайнем удивлении. – Вот, оказывается, у какого милейшего человека я нахожусь.

– Вы смеетесь надо мной, господин Гёфле, вы не верите в его преступления! Значит, и сейчас, когда вы говорили, вы хотели посмеяться надо мной?..

– Все, что я говорил, я готов повторить вам еще раз, но только мне хотелось бы знать, в каком преступлении вы обвиняете моего хозяина?

– Не я обвиняю его – народная молва приучила меня видеть в нем убийцу отца, брата и даже его невестки, злосчастной Хильды!

– Как! И только?

– Вам хорошо известно, что все так говорят, господин Гёфле; ведь вам было когда-то поручено?.. Нет, я ошиблась, это ваш отец был тогда поверенным в делах барона Олауса. Барон предъявил какие-то документы. Его ни в чем нельзя было уличить; но истины так и не узнали и никогда не узнают, если только мертвые не выйдут из могил, чтобы поведать ее.

– Это иногда случалось, – отвечал с улыбкой Кристиано.

– Вы действительно так думаете?

– Так говорится на языке людей моей профессии; понимаете, когда неожиданное доказательство, потерянное письмо, позабытое слово...

– Да, я знаю; только ничего не нашли, а спустя пятнадцать или двадцать лет пришло молчание и забвение. Сперва барона подозревали и ненавидели, потом он заставил себя бояться, и этим все сказано. А теперь в самонадеянности и наглости он дошел до того, что задумал вновь жениться. Ах! Не приведи господь, чтобы я стала предметом его ухаживаний! Говорят, он очень любил жену; но что касается баронессы Хильды, все думают...

– Что думают?

– Я вижу, что до вас не дошли местные слухи, господин Гёфле, или они вам смешны, поскольку вы спокойно расположились в этой комнате.

– Действительно, за всем этим что-то кроется, – отвечал Кристиано, внезапно пораженный воспоминанием. – Люди с мызы говорили мне нынче вечером: «Ступайте, а завтра расскажете нам, как вы провели ночь!» Верно, тут домовый или привидение...

– Надо полагать, что есть какая-то странность: призрак или действительность; потому что сам Стенсон в это верит, а может быть, и барон; после смерти невестки его ноги здесь не было, и он велел даже заделать какую-то дверь...

– Вон ту, – сказал Кристиано, указав на верх лестницы.

– Возможно, я не знаю, – ответила Маргарита, – все это очень загадочно, я думала, что вы посвящены в то, чего не знаю я. Я не верю в привидения! Тем не менее я не хотела бы с ними повстречаться, и ничто на свете не принудило бы меня сделать то, на что отважились вы, оставаясь тут ночевать. Что до барона, то правда или ложь вся история с бриллиантом...

– Ах, еще одна история?

– Она все же из всех наименее правдоподобная, с этим нельзя не согласиться, меня разбавляет смех, когда я начинаю ее рассказывать. В округе говорят, что из любви к жене, которая была такой же злобной, как он сам, барон отдал ее тело алхимику, который путем перегонки превратил его в большой черный бриллиант. Вполне достоверно, что он носит на пальце странный перстень, на который я не могу смотреть без ужаса и омерзения.

– Что и служит доказательством! – заметил Кристиано со смехом. – Подумать только, что вас может ожидать подобная участь! Конечно, из реторты, где вас растворят, может выйти только прехорошенький розовый бриллиантик чистой воды; но вам-то от этого не легче, и я вам советую не подвергать себя опасности кристаллизации.

Маргарита расхохоталась; эхо старинной комнаты несколько раз повторило ее звонкий ребячий смех, искажая его так таинственно, что девушку сразу охватил страх, и, снова погрузившись, она сказала с унынием в голосе:

– Ну, тогда все кончено, господин Гёфле, вы действительно любезный и остроумный человек, так все говорят; но я ошиблась, надеясь, что вы будете думать, как я, и станете мне опорой и избавителем. Вы думаете, как моя тетка, вы сочли пустой фантазией все, что я вам рассказала, и отвергли мои сетования! Да сжалится надо мною Господь! На Него одного моя надежда!

– Но послушайте, – сказал Кристиано, растроганный при виде крупных слез, катившихся по ее юному лицу, на котором только что играла улыбка, – что же, вы не уверены в самой себе? Что вы мне сейчас рассказали? Вы обещали что-то поведать мне под секретом, а свели все к тому, что вам навязывают неподходящую партию и жениха, который вам неприятен. Я ожидал



услышать любовное признание... Не краснейте! Любовь бывает чистой и законной, хотя бы ее и не одобряло честолюбие предков. Отец и мать могут ошибаться, и побороть их влияние нелегко. А вы сирота!.. Да, конечно, раз вы зависите от старой тетки... Я назвал ее старой, а вы качаете головой. Допустим, она молода... Вернее, ей хочется, чтобы ее считали молодой. Тут уж я, видимо, мало что смыслю. Я-то думал, что она старая. Если это не так, то тем больше оснований послать ее... Я не хочу сказать куда, но пусть она получше все это обдумает, а вы тем временем посоветуйтесь со старым другом, с господином Гёфле... иначе говоря, со мной, словом, с кем-то, кто поможет вам выйти замуж за счастливого смертного, которому вы отдаете предпочтение.

– Но клянусь вам, дорогой господин Гёфле, – ответила Маргарита, – я никого не люблю. О боже, не хватало мне еще этого, и без того я достойна сожаления! Разве не достаточно ненавидеть человека и быть вынужденной терпеть его ухаживания?

– Вы неискренни, дитя мое, – продолжал Кристиано, который вошел в роль Гёфле и довольно убедительно исполнял ее, – вас пугает, что я передам ваши признания графине, моей клиентке.

– Нет, дорогой господин Гёфле, нет! Я знаю, что вы более чем честны – вы добры. Все вас почитают, и сам барон, который обо всех думает дурно, не решается сказать о вас ничего дурного. Я так вам доверяю, так уважаю вас, что я подождала, когда вы приедете, и сейчас признаюсь, как мне пришло в голову повидать вас, а это и будет в двух словах вся моя история, которую тетя вам передала, может быть, не совсем точно.

Выросла я в замке Дальбю (в Вермланде<sup>[14]</sup>, в двадцати милях отсюда), под присмотром моей опекунши, графини Эльфриды Эльведа, сестры отца. Когда я говорю «под присмотром»... Видите ли, тетя любит свет, политику. Она живет при стокгольмском дворе и придворными делами интересуется куда более, чем моими, а я живу с самого рождения в заброшенном замке с гувернанткой-француженкой, мадемуазель Потен. По счастью, она очень добра и любит меня. Два раза в год тетя приезжает поглядеть, выросла ли я, хорошо ли я говорю по-французски и по-русски, не нужно ли мне чего-нибудь и следит ли суровый пастор нашей церкви за тем, чтобы мы никогда не принимали других посетителей, кроме нее и ее семьи.

– И это очень невесело?

– Да, но я не вправе считать себя несчастной. Я много занимаюсь с гувернанткой, я достаточно богата, а тетя довольно щедра, так что я не испытываю лишений; к тому же мадемуазель Потен очень милая, и, когда нам скучно, мы принимаемся за чтение романов... О! романов вполне благопристойных и очень интересных, они скрашивают одиночество; порок в них всегда бывает наказан и добродетель вознаграждена!

– Как бы не так... И все же неплохо в это верить и должным образом вести себя. Но неужели в вашем одиночестве никакой красавчик со страниц романа не закрался к вам в дом или в мысли, невзирая на пастора и на тетку?

– Нет, никогда, клянусь вам, господин Гёфле, – простодушно ответила Маргарита. – Однако могу вам признаться, что некий идеальный образ будущего мужа у меня все же возник, и когда, неделю назад, тетя вдруг показала мне барона Олауса Вальдемора, добавив: «Вот он, будь с ним полюбезнее», я нашла, что он не похож на мой идеал, и приняла его очень сухо.

– Ну, разумеется. И тогда ваша тетка...

– Высмеяла меня. «Ты дурочка, – сказала она. – Девушке благородного происхождения не следует забивать себе голову любовью. Замуж выходят не ради любви, а для того, чтобы сделаться знатной дамой. Ты станешь баронессой Вальдемора, или, клянусь тебе, ты на всю жизнь останешься узницей в этом замке и живой души не увидишь. Больше того – я рассчитаю мадемуазель Потен: наверно, это она дает тебе дурные советы. Решай, даю тебе месяц сроку.

Барон приглашает нас на рождественские праздники<sup>3</sup> в свое богатое поместье в Далекарлии. Там будет очень весело: все время охота, балы, развлечения. Ты получишь представление о его богатстве, влиянии, значении и поймешь, что это самая блестящая и почетная партия, которую ты можешь составить.

– И что же... вы сказали «да»?

– Я ответила: «Хорошо, поедемте в Далекарлию, коль скоро вы даете мне месяц на размышления». Я ничего не имела против того, чтобы повидать новые места, праздники и, наконец, просто новые человеческие лица. Но только за неделю, что мы живем здесь, клянусь вам, господин Гёфле, барон стал еще более неприятным для меня человеком, чем показался в первый день.

– Но у барона вы встретите... если уже не повстречали, кого-нибудь, кто вам будет не столь противен, кому вы откроете сердце, как вы открыли его сейчас мне, и кто вселит в вас надежду на счастье и вдохновит на борьбу куда лучше, чем какие бы то ни было советы старого адвоката!

– Нет, господин Гёфле, никому, кроме вас, я не открою своего сердца и не стану доверяться людям, которые могут встретиться в замке Вальдемора. Я слишком хорошо вижу, что барон их ловко подобрал среди тех, кто ему чем-то обязан, или же среди честолюбцев, которые боятся его или льстят ему, и что, кроме нескольких превосходных людей, которые и не думают за мной ухаживать, все в замке гнут передо мной спину, как если бы я уже была женою их покровителя! Ко всем этим провинциальным царедворцам я испытываю только презрение и неприязнь, но зато доверяю вам, господин Гёфле! Вы поверенный в баронских делах, но вы не его холоп. Ваша независимость и благородство известны всем. Видите, тете не удалось обмануть меня! Она меня уверяла, что вы одобряете все ее замыслы, и я могла ожидать, что встречу в вас насмешливого противника, исполненного презрения к моим романтическим мечтаниям; однако брат мадемуазель Потен, гувернер в одной семье тут неподалеку, хорошо вас знает. Это Жак Потен, которому вы оказали столько услуг.

– Да, как же, прелестный молодой человек!

– Прелестный, ну уж нет! Он ведь горбун!

– Прелестной души! Горб тут совсем ни при чем.

– Это правда, он человек исключительный, он нам столько хорошего о вас наговорил, что вот я и решила повидаться с вами потихоньку от тетушки. Мадемуазель Потен умеет ловко все подстраивать и выведала день и час, когда вас ожидали в новом замке. Она укараулила ваш приезд и узнала, что, так как в новом замке слишком много народа, вы предпочтете остановиться в Стольборге. Она мне подмигнула, когда я на глазах у тети заканчивала мой бальный туалет. Когда тетушка, которой тоже надо было одеваться, а у нее это берет не меньше двух часов, удалилась в свои покои, мадемуазель Потен осталась у меня, чтобы придумать какой-то предлог и избавить меня от необходимости идти к графине, если она позовет. А я проскользнула по потайной лестнице на берег озера, где Потен велела моему верному Петерсону ожидать меня с санями, и вот я здесь! Слышите, это, должно быть, трубы в замке возвещают открытие бала. Надо скорей удирать! Да и бедный мой кучер меня заждался. Прощайте, господин Гёфле; позвольте мне прийти завтра днем, когда тетя будет спать. Она ведь на балах обычно танцует и очень потом устает. А я скажу, что пошла с гувернанткой гулять, и приду к вам.

– К тому же, если тетушка ваша рассердится, – сказал Кристиано более молодым, чем следовало, голосом, – вы вполне можете сказать ей, что я вас наставляю в ее духе.

– Нет, – ответила Маргарита, охваченная скорее безотчетным, нежели осознанным подозрением, – я не хочу смеяться над нею, да, может быть, лучше мне больше и не приходить.

---

<sup>3</sup> Рождественские праздники в Швеции и Норвегии длятся с 24 декабря по 6 января. (Примеч. автора.)

Если вы сейчас же пообещаете отговорить ее от этого ужасного сватовства, мне больше не надо будет вас беспокоить.

– Клянусь вам, я сделаю для вас все, как для родной дочери, – продолжал Кристиано, стараясь быть осмотрительным, – но вам необходимо время от времени оповещать меня о том, к чему приводят мои старания.

– Раз так, то я приду еще. Как вы добры, господин Гёфле, и как я вам обязана. О! Я предчувствовала, что вы станете моим добрым гением!

С этим пылким признанием Маргарита поднялась и протянула мнимому старцу руки; тот не преминул почтительно их поцеловать и на мгновение залюбовался прелестной графиней в бледно-розовом атласном платье, украшенном перьями гагары.

Он отечески помог ей застегнуть крючок на горностаевой шубке и надвинуть капюшон, не измяв лент и цветов ее прически; затем взял ее под руку и довел до саней, где она утонула в пуховых подушках, словно лебедь в гнезде.

Сани умчались вдаль, оставив на льду сверкающий след полозьев, и исчезли за прибрежными холмами, прежде чем Кристиано, стоя на Стольборгском утесе, почувствовал, что его пронизывает стужа и он едва стоит на ногах от холода.

Не говоря уже о глубоком волнении, в котором он не хотел себе признаваться, наш герой был захвачен изумительным зрелищем. Метель совсем утихла и уступила место ледяному ветру, который, в противоположность нашим широтам, дует с запада и за несколько мгновений очищает весь небосклон. Никогда в южных странах Кристиано не приходилось видеть, чтобы звезды блистали так ярко. То были в полном смысле слова маленькие солнца, и самый месяц, по мере того как серп его вставал на чистом небе, сверкал, подобно звездам, чего нельзя увидеть на нашем небе. Ночь, и без того уже светлая, заискрилась снежными и льдистыми отблесками, и окрестные громады вырисовывались в прозрачном воздухе, словно посеребренные сумерками.

Громады гор поражали своим величием. Угловатые гранитные края, покрытые вечными снегами, замыкали тесный горизонт, и лишь на юго-западе открывалась долина. Контуры гор, как ближние, так и дальние, скрадывались темнотой, но главные линии пейзажа ясно обрисовывались на фоне широкой полосы голубого неба, которое виднелось в просвете скал. Кристиано, добравшийся к Стольборгу чуть ли не ощупью, сквозь метель, теперь сообразил, что он проезжал по всем этим волнистым косогорам, и мало-помалу представил себе расположение фалунских ущелий и постоянного двора, где еще утром он завтракал и где Гёфле, которого везла сильная лошадь, останавливался после него и пробыл дольше, чем он.

Долина, вернее – целая цепь узких полей и луговин, ведущих из Фалуна к замку Вальдемора, заканчивалась тупиком, неровным амфитеатром вершин, образованным отрогами Севенбергской цепи (иначе говоря, горами Севы или Севоны), отделяющей эту часть Центральной Швеции от южной части Норвегии. Два бурных потока низвергаются со стремнин Севенберга с северо-запада к юго-востоку, охватывая горы слева и справа и устремляясь по мере их понижения один к Балтийскому морю, другой – к озеру Венерн и Каттегату. Эти два потока постепенно становятся более полноводными и образуют реки Дэльэльв и Кларэльв.

Замок Стольборг лепился на каменистом утесе в глубине береговой впадины небольшого озера, образованного Кларэльвом или одним из его стремительных притоков. Читателю не требуется излишняя точность, но мы опишем ему местность в общих чертах, без значительных отклонений от истины. Хаотический пейзаж сверкал в прозрачной мгле, словно хрустальные крепостные стены, раскиданные на разных уровнях прихотливо и своевольно; граниты и льды замыкали вид с трех сторон, ниже виднелись зубчатые выступы обледенелого сланца, не столь величественные, но еще более причудливые, а по краям замерзшие каскады повисали вдоль скал тысячу алмазных игл, смыкаясь там, где ширился поток, также скованный льдом и точно припаянный к озеру, берега которого можно было различить лишь по очертаниям склонов и

торчащих голых камней, на черные острия которых морозу не удалось набросить свой ровный белый покров.

«Недаром мне говорили, что студеные ночи севера неслыханно прекрасны, – подумал Кристиано. – Если бы я сказал в Неаполе, что неаполитанские ночи говорят только чувствам и что тот, кто не видал зимы на ее морозном троне, понятия не имеет о чудесном творении Божьем, – меня бы осрамили и забросали камнями. Ну и что же! Поистине все прекрасно под небесами, и для того, кто способен чувствовать красоту, последнее впечатление, может быть, всегда окажется самым полным и самым достойным восхищения. Но, должно быть, это поистине божественно, если я о стуже и думать забыл, а считал ее невыносимой, если мне даже приятно вдыхать воздух, который врзается в грудь, словно клинок кинжала. Конечно, я и в Лапландии бываю, даже если Пуффо меня бросит, а бедняга Жан околет на снегу. Хочу увидеть ночь, длящуюся круглые сутки, и краткий полуденный рассвет в январе. Удачи в этой стране мне не ждать, но скромные деньги, которые я заработаю, позволят мне путешествовать как знатному вельможе, а именно пешком и в одиночестве, всем существом своим созерцая и ощущая красоту жизни, новизну ее, иначе говоря – светлую полосу, которая отделяет желание от пресыщения и мечту от воспоминания».

И наш юноша с пылким воображением искал уже глазами в глубоких горных ущельях невидимую тропинку, по которой он поднимется на север или доберется до Норвегии. Ему уже рисовалось в мечтах, как он висит над краем пропасти, легкомысленно распевая какую-нибудь тарантеллу, которая поразит древнее скандинавское эхо, как вдруг звуки далекого оркестра донесли до его ушей припев старинной французской песенки, должно быть, только что попавшей к далекарлийцам. То была музыка на балу, который барон Олаус Вальдемора устраивал в новом замке для своих соседей по имению в честь прелестной Маргариты Эльведа.

Кристиано вернулся к действительности. Только что он готов был на крыльях лететь к Нордкапу, а сейчас все помыслы, все желания, все надежды влекли его к освещенному замку, сиявшему огнями на берегу озера и отдававшему в окружающий воздух струи комнатного тепла.

«Я вполне уверен, – сказал он себе, – что и за пятьсот экю (а бог весть, понадобятся ли мне пять сотен экю) я не покину этой удивительной страны нынче вечером, даже если сами валькирии<sup>[15]</sup> перенесут меня в сапфировый дворец великого Одина. Завтра я вновь увижусь с белокурою феей, правнучкой светлокудрого Гаральда<sup>[16]</sup>! Завтра? Да нет, завтра-то мне ее не видать! Ни завтра, ни через год! Ведь завтра счастливый смертный, законно носящий имя Гёфле, отправится в новый замок как доверенное лицо своей клиентки, тетушки Эльведа, и может стать, как и подобает бессердечному дельцу, будет способствовать свадьбе свирепого Олауса с нежной Маргаритой! И завтра нежная Маргарита узнает, что была обманута, и кем? Каким гневом, каким презрением она оплатит мне за мои лицемерные речи и благие советы!.. Однако все это не мешает мне быть голодным и ощущать холодок декабрьской ночи где-то между шестьдесят первым и шестьдесят вторым градусами широты. А ведь как я когда-то жаловался на то, что в Риме холодные зимы!»

Кристиано брел обратно к медвежьей комнате, но по долгу милосердия решил провести своего осла. Тут он более внимательно рассмотрел стоявшие под навесом сани Гёфле. Каким образом от вида этих саней наш проказник внезапно пришел к безумному решению, объяснить мы не беремся. Нам известно только, что вместо того, чтобы спокойно усесться и поужинать, греясь у печки, он устави́лся на принадлежавшие доктору черный кафтан и штаны, развешанные на спинке кресла в медвежьей комнате.

Кристиано полагал, что ученый законовед, которого по воле случая ему довелось изображать, должен был носить старомодный и даже несколько засаленный костюм. Куда там! Господин Гёфле, который был когда-то красивым малым, очень заботился о собственной персоне, почитал своим долгом держаться прямо, был подтянут и одет всегда строго и со вкусом.

Кристиано примерил кафтан, который пришелся ему как раз по фигуре, нашел пудреницу и пуховку и слегка припудрил свою черную шевелюру. Шелковые чулки чуть жали в икрах, а башмаки с пряжками были великоваты; но что из того? Станут ли в Далекарлии так уж приглядываться? Короче говоря, через десять минут Кристиано выглядел как сын богатых родителей, профессор невесть каких наук, студент или член какого-то факультета, серьезный по виду, но простой в обращении и с безукоризненными манерами.

Вы уже догадались, что наш беспутный герой вывел лошадь Гёфле из конюшни, уговорив Жана не очень скучать в одиночестве, затем впряг послушного Локи в санки, зажег фонарь и стрелой пустился вниз по крутой стольборгской дороге.

Спустя десять минут он уже въезжал в ярко освещенный двор нового замка. Он небрежно кинул поводья ливрейным лакеям, сбежавшимся на звон бубенчиков его коня, и, перепрыгивая через ступеньки, стремительно поднялся в роскошный вестибюль.

### III

Кристиано двигался как во сне, когда чувствуешь себя вовлеченным в необыкновенное приключение и сам не можешь дать себе отчет в своих поступках. Да и разве не было все необыкновенным в стране, куда его забросила судьба? Сказочный замок, прозванный новым, в отличие от обветшавшего Стольборга, но в действительности воздвигнутый еще во времена королевы Христины<sup>[17]</sup>, был настолько роскошен, а сейчас и многолюден, что, казалось, упал с неба в самое сердце голой пустыни; окруженный дикими скалами и грозными потоками, он, естественно, имел вид совершенно неприступный, но теперь, в зимнюю пору, бесчисленные изящные возки прочертили по льду извилистые и удобные колеи; длинные ленты фонарей выделяли из мрака крепостные стены с приземистыми башенками, увенчанными большими медными колпаками с непомерно высокими шпилями, и вытянутый в длину жилой дом, с разных сторон окруженный четырехугольными пристройками, которые завершались громоздкими резными коньками с фигурными узорами и эмблемами. На башенных часах среднего здания пробило десять часов вечера – час, когда даже медведи и те побоятся отряхнуть слой снега, под которым они укрылись, в то время как мужчины, самые утонченные из всех земных созданий, танцуют в шелковых чулках с женщинами, у которых обнажены плечи; словом, все в этой суровой и величавой природе и в оживлявшем ее светском веселье, вплоть до шутиливо-жеманных мотивов старинной французской музыки, легко сочетавшейся с пронзительными стонами вьюги в длинных коридорах, – все поражало путника, да и было от чего смутиться итальянскому гостю.

Видя, что огромные залы и длинная галерея с плафоном, на котором красовались древние божества, стали местом шумного сборища, Кристиано совершенно серьезно спрашивал себя, не чудится ли ему, не духи ли это, которых вызвали к жизни колдуньи здешних пустынных мест, чтобы над ним посмеяться. Откуда взялись эти люди, вырядившиеся в костюмы рококо, кавалеры в усыпанных блестками кафтанах, напудренные дамы, улыбающиеся в волнах перьев и кружев? А что, если этот заколдованный замок исчезнет вдруг по мановению волшебной палочки, а щегольски одетые гости, танцующие менуэт и чакону, взлетят ввысь, приняв обличье белых соколов и диких лебедей?

Кристиано, однако, уже подметил своеобразный характер шведских нравов: раскиданные там и тут уединенные домики, огромные расстояния, отделяющие их от мелких деревушек, именуемых селами, разбросанность этих сел, протянувшихся иногда на две-три мили и объединенных между собой только зеленоватым куполом колоколенки приходской церкви; презрение знати к городскому образу жизни, который в их глазах был уделом торгашей, наконец – страсть к пустынным просторам, странным образом сочетающаяся со страстью к бешеной езде, в надежде на самые неожиданные и, казалось бы, немыслимые встречи. Но хотя Кристиано и был приглашен на деревенское празднество, он отнюдь не предвидел, что эти черты у шведов возрастают по мере того, как природные условия становятся суровей, ночи длиннее, а передвижение затруднительней. Однако именно в этом заключается потребность человека покорять себе природу и заставлять ее служить себе. Барон еще за два месяца оповестил всех соседей на пятьдесят миль вокруг, что приглашает местную знать на рождественские праздники. Никто не уважал и не любил барона, и тем не менее вот уже несколько дней, как замок полон гостей, которые сочли своим долгом съехаться со всех сторон – из-за озер, лесов и гор.

Гостеприимство далекарлийцев вошло в пословицу, и, так же как любовь к уединению и сопутствующая ей жажда наслаждений, хлебосольство растет по мере углубления в отдаленные и труднодоступные области. Кристиано, заметивший удивительное добродушие шведов по отношению к чужестранцам, в особенности если те говорят на их языке, несколько не задумываясь над тем, как трудно быть представленным на бале, где вас никто не знает и куда вдоба-

вок вас никто и не думал приглашать. Поэтому на какое-то мгновение он испытал нечто вроде неприятного пробуждения, когда в вестибюле навстречу ему вышел мажордом при шпаге и, почтительно поклонившись, учтиво протянул ему руку.

Кристиано сначала подумал было, что таков в этой стране обычай приветствовать гостей, и собирался крепко пожать протянутую руку, но потом ему пришло в голову, что его просто просят предъявить пригласительный билет. Мажордом был стар, некрасив; лицо его было изрыто оспой, а заплывшие глаза выражали слащавое равнодушие, таившее в себе плохо скрытую фальшь. Кристиано на всякий случай сунул руку в карман, хоть и был уверен, что не найдет того, что ему нужно. Само собой разумеется, его пригласили в замок Вальдемора за счет амфитриона<sup>[18]</sup>, но на совсем иных условиях, чем местное дворянство. Поэтому он уже готовился было разыграть роль человека, потерявшего пропускное свидетельство и не собирающегося за ним возвращаться, как вдруг нащупал у себя в кармане, вернее в кармане Гёфле, билет за подписью барона, содержащий написанное по принятой форме приглашение на имя господина Гёфле и членов его семьи. Едва взглянув на него, Кристиано с решительным видом предъявил пригласительный билет, который мажордом не стал особенно разглядывать, успев, однако, прочесть его целиком.

– Ваша милость приходитесь родственником господину Гёфле? – спросил он и бросил билет в корзину, где уже было сложено много других.

– А как же, черт побери! – самонадеянно ответил Кристиано.

Юхан (так звали мажордома) еще раз отвесил поклон и пошел открывать дверь, ведущую на парадную лестницу, по которой взад и вперед сновали гости, расположившиеся в замке, и свободно поднимались наверх соседи, хорошо известные многочисленной прислуге. Этой обычной формальностью и ограничилась процедура введения Кристиано в дом, но он и ее был бы рад избежать, ибо совершенно не намеревался участвовать в празднике. У него было только желание появиться на нем и взглянуть на прелестную Маргариту.

Сначала он попал в обширную галерею, расписанную фресками, проходившую через все главное здание, в убранстве которой сквозило подражание итальянскому стилю, введенному в Швеции королевой Кристиной. Картины были писаны посредственно, но производили известное впечатление. Они изображали охотничьи сцены, и хотя все эти собаки, лошади и дикие звери в своем порывистом движении и не могли удовлетворить знатока точностью рисунка, все же они радовали глаз сочетаниями ярких и живых красок.

Пройдя галерею, Кристиано очутился на пороге довольно пышной гостиной, где в это время как раз начинались танцы. Он стал разглядывать танцующих, охваченный только одной мыслью. И вместе с тем к его желанию увидеть Маргариту примешивалось тайное опасение. Найти способ возобновить начатый с нею в Стольборге разговор, изменив обличье, в котором он предстал ей там, на свое собственное или на какое-нибудь еще, теперь уже не казалось ему делом столь легким, как он полагал вначале, когда пускался в это безумное предприятие. Поэтому он почти обрадовался, не увидев на бале Маргариты, и воспользовался этой передышкой для того, чтобы попытаться составить себе более полное мнение о светском обществе, которое видел перед собою.

Он ожидал чего-то необыкновенного, но так и не нашел. На первый взгляд он не обнаружил ничего, воображение его обмануло. То был вольтеровский век, а следовательно, век всего французского. По примеру едва ли не всех европейских государей, высшие круги почти всей Европы переняли язык и внешнюю сторону философской и литературной мысли Франции; но так как хороший вкус, способность логически мыслить и здраво судить о вещах всегда являются достоянием меньшинства, то безудержное увлечение нашими идеями повлекло за собою немало всяческих несуразностей. Так, нравы и обычаи нередко носили на себе в большей степени печать версальской испорченности и изнеженности, нежели плодотворных фернейских досугов<sup>[19]</sup>. Как и философия, Франция стала модою. Искусства, платье, здания, хороший тон,

образ жизни и внешний лоск – все было более или менее удачным подражанием Франции, всему, что было в ней хорошего и плохого, блистательного и низкого, удачного и досадного. То было своеобразное время, когда прогресс идет еще рука об руку с упадком; потом они схватываются в борьбе, стараясь удушить друг друга.

Убранство в доме барона Олауса было всего-навсего несколько устарелым воспроизведением французского интерьера XVIII столетия, и тем не менее барон ненавидел все французское и вел политическую игру в пользу России; но и в России неумело подражали тогда Франции и говорили по-французски; при дворе царили жестокие и кровавые обычаи, свойственные варварам, но и там старались приноровиться к учтивой любезности в духе нашей эпохи Просвещения. Барон Олаус следовал неукротимому веянию века. Впоследствии мы узнаем его историю. А теперь вернемся к Кристиано.

Когда наш герой вдоволь налюбовался туалетами дам, найдя, что они лишь на несколько лет отстают от французских, а их лица, далеко не все молодые и красивые, почти всегда выражают кротость или ум, он стал искать хозяина дома, вернее, постарался угадать его среди других мужчин по всему внешнему облику его и по лицу. Неподалеку от места, откуда он наблюдал за окружающими, оставаясь незамеченным, два человека тихо разговаривали между собой, стоя к нему спиной. Кристиано невольно прислушался к их разговору, хотя он его нимало не затрагивал.

Эти два человека говорили по-французски, один с русским акцентом, другой – со шведским. По-видимому, для обмена мнений им потребовался язык придворных и дипломатов.

– Ба! – воскликнул швед. – Я не «колпак» и не «шляпа»<sup>[20]</sup>, хотя меня и пытаются поставить во главе парламентской фракции, состоящей из самых старомодных «колпаков». Говоря по правде, все эти ребячества кажутся мне смехотворными, и вы плохо узнали бы Швецию, если бы предпочли одних другим.

– Я все это знаю, – ответил русский, – голоса достанутся тому, кто больше заплатит.

– Вот и платите побольше! Никакой другой политики вести не приходится. Она проста, а вам это нетрудно, у вас богатое государство. Что до меня, я предан вам душой и телом, ничего от вас не требуя взамен: это вопрос одних только убеждений.

– Сразу видно, что вы не из числа тех сторонников золотого века, кто мечтает о скандинавской унии<sup>[21]</sup>, и что с вами мы всегда стоворимся. Царица на вас рассчитывает; но не надейтесь избежать ее благодарности: она не принимает услуг, не оплатив их с великой щедростью.

– Знаю, – отвечал швед с цинизмом, поразившим Кристиано, – я это на себе испытал. Да здравствует Екатерина Великая! Пусть она сунет нас к себе в карман, я возражать не стану. Только бы избавила нас от безумной идеи права и раскрепощения крестьян, это же наша беда! Пусть задаст кнута мещанам да сошлет в Сибирь побольше дворян, которые всем хотят заправлять по-своему. А нашему славному королю важно только, чтобы вернули его приход, да еще избавили от жены, и он жаловаться не будет.

– Не говорите так громко, – прошептал русский, – быть может, нас подслушивают.

– Не бойтесь! Все только притворяются, что говорят по-французски, но на сотню здесь едва ли найдется и десяток таких, кто действительно понимает этот язык. К тому же все то, что я вам сказал, я привык говорить без всякого стеснения. Я уже давно понял, что лучшая политика – заставить бояться своего мнения. Вот я и кричу на всех углах, что со Швецией покончено. Кому не нравится, пусть доказывает, что это не так!

Хотя Кристиано и не принадлежал ни к какой национальности и ничего не знал о своей стране и семье, его возмутило, что швед с таким бесстыдством продает свою родину, и он попытался разглядеть лицо человека, который вел этот разговор; но тут его внимание привлекла странная фигура, шумно и неловко переходившая от одной группы гостей к другой с видом человека, отвечающего за честь празднества. Этот персонаж был облачен в ярко-красный, богато расшитый мундир, украшенный орденом шведской Полярной Звезды<sup>[22]</sup>. Броса-



лась в глаза слишком высокая для того времени прическа с кричащей завивкой весьма дурного вкуса, а огромные богатые кружевные манжеты свидетельствовали о том, что роскоши тут больше, нежели чистоплотности. Ко всему, это был человек старый, неуклюжий, вертлявый, нелепый, слегка горбатый, изрядно хромым и к тому же совершенно косой. Из этого последнего обстоятельства Кристиано заключил, что у него лживый взгляд и что этот неприятный чудаковитый человек не мог быть никем иным, кроме нелепого и отвратительного претендента на руку Маргариты.

Кристиано скромно удалился, чтобы не быть вынужденным ему представляться и поддерживать версию мнимого родства с Гёфле (вольность, которую он со спокойной совестью позволил себе с мажордомом); он решил побродить по залам до тех пор, пока не приметит юную графиню, даже если потом ему придется уйти сразу, не сказав с ней ни слова. Ему показалось, что горбатый владелец замка взглянул на него довольно внимательно; но, ловко прошмыгнув мимо гостей, болтавших в дверях, он надеялся, что ускользнет от него.

Несколько мгновений он прогуливался, не скажу – в толпе (помещение было чересчур велико по сравнению с числом приглашенных), но среди мелькавших перед ним оживленных групп гостей, к которым он не успевал приглядываться. Боясь, что к нему обратятся прежде, чем он настигнет ту, кого искал, он озабоченно проходил мимо, и именно оттого, что чувствовал себя неуверенно, принимал еще более независимый вид. И, однако, то ли из любопытства, которое возбудил к себе никому не известный гость, то ли из чувства симпатии к его привлекательной наружности и красивому лицу, только в каждом кружке, мимо которого он проходил, находились люди, расположенные с ним поговорить или любезно ответить на его поклон. Но у Кристиано кружилась голова, и он истолковывал превратно обращенные к нему приветливые взгляды и милые улыбки. Он не останавливался, притворяясь, что открыто ищет кого-то, и кланяясь с непринужденным изяществом, которое, впрочем, ему ничего не стоило, людям, оказывавшим ему знаки внимания, сам едва осмеливаясь при этом на них взглянуть.

Наконец, вернувшись в галерею, называемую охотничьей, он заметил двух женщин, и тотчас же в одной из них признал ту, кого видел в Стольборге час назад, в другой – ее воспитательницу; последнее предположение основывалось на скромной одежде, робком и вместе с тем лукавом выражении лица и чем-то очень французском во всем облике мадемуазель Потен. На этом закончилась первая часть романического приключения, которое замыслил Кристиано. Он явился на бал, беспрепятственно проник в замок, сумел не попасться на глаза хозяину дома и избежать его расспросов и, наконец, нашел Маргариту под благожелательным надзором ее наперсницы. Но этого было мало. Оставалось еще заговорить с молодой графиней или привлечь к себе ее внимание и завязать с ней знакомство на новых началах.

Вторая часть романа началась с больших волнений. В ту минуту, когда Кристиано ловил взгляд Маргариты, надеясь, что взгляд этот его вдохновит, он услышал за собой неровные шаги. Кто-то пытался нагнать его, и резкий, крикливый голос у него за спиной остановил его, окликнув:

– Сударь! Господин чужестранец! Куда вы так спешите?

Наш путешественник повернулся и столкнулся нос к носу с косоглазым и кривобоким стариком, встречи с которым, как ему казалось, он так удачно сумел избежать. Я сказал – нос к носу, ибо хромоногий, пустившись ему вдогонку, не сумел вовремя умерить шаг и чуть не упал ему в объятия. Кристиано мог бы убежать, но этим бы все погубил; и он ответил, глядя в лицо опасности:

– Приношу вам тысячу извинений, господин барон, вас-то я и искал.

– Ах, да! – сказал хромым, приветливо протягивая ему руку. – Я так и знал. Из всех гостей мне ваше лицо заприметилось, и я сразу подумал: «Вот, должно быть, человек образованный, какой-нибудь ученый путешественник, человек серьезный, умная голова, и, уж конечно, я тот полюс, что привлечет магнит». Ну, так вот, я к вашим услугам и с радостью отдаю себя в ваше

распоряжение. Мне нравится любознательная молодежь, можете задавать вопросы, и вы на все получите ответ.

В веселом лице и самоуверенных речах старика было столько чистосердечия и расположения, что Кристиано в душе уже готов был обвинить Маргариту, что она к нему несправедлива. Правда, в роли жениха он был смешон и нелеп, но то был добрейший человек в мире, который не мог бы обидеть ребенка, и в то время как один глаз его, мутный и словно слепой, блуждал по стенам залы, другой глядел на своего собеседника с такой откровенностью и отеческой теплотой, что всякое обвинение его в жестокости казалось напраслиной.

– Я так смущен вашей добротой, господин барон, – отвечал Кристиано спокойно и даже несколько иронически. – Я много наслышан о ваших знаниях, и поэтому, имея некоторые слабые понятия...

– Вы хотели спросить моего совета, может статься, руководства... Ах, дитя мое, во всем нужна метода... Но что же я вас заставляю стоять среди сей легкомысленной молодежи, снующей туда и сюда; давайте присядем. Никто нам не будет мешать, и, если хотите, мы можем болтать здесь всю ночь. Когда разговор заходит о науке, я не знаю ни усталости, ни голода, ни сна. Да вы и сами такой, готов поручиться! Ах, видите ли, надо или быть таким, или не лезть в ученые.

«Увы, – подумал Кристиано, – я напал на кладезь премудрости, и вот я приговорен к каторжным работам в рудниках, ни больше ни меньше, как какой-нибудь сибирский ссыльный!»

Это открытие оказалось тем более жестоким, что Маргарита как раз прошла мимо и была уже в конце галереи, болтая с дамами и кавалерами, которые с нею раскланивались, видимо направляясь в танцевальную залу, куда барон отнюдь не собирался за нею следовать. Они уселись в одной из полукруглых амбразур галереи, у печки, укрытой ветвями тиса и терновника вперемежку с оружием и чучелами голов диких зверей.

– По всему видно, что вы человек очень разносторонний, – начал Кристиано, которому хотелось избежать в эту минуту ученых разговоров. – Разумеется, вы к тому же еще и умелый охотник, и меня только удивляет, откуда у вас на все находится время...

– Почему вы решили, что я охотник? – удивился старик. – Ах! Вы, верно, сочли меня виновным в убийстве этих зверей, чьи отрубленные головы так грустно взирают на нас своими янтарными глазами? Вас ввели в заблуждение: я в жизни не охотился. Мне претят жестокие развлечения. Я посвятил себя изучению бесчувственных, но богатых недр земного шара.

– Простите, господин барон, я подумал...

– Но почему вы зовете меня бароном? Никакой я не барон, правда, король пожаловал мне дворянство и орден Полярной Звезды в награду за мои труды в фалунских копях. Как вам, конечно, известно, я был профессором горного института в этом городе; это не дает мне права на титул, но с меня довольно небольших привилегий, ценных в глазах гордой касты, мнение которой я, впрочем, ни во что не ставлю.

«Должно быть, я обознался, – подумал Кристиано, – ну, раз так, то надо поскорее отделаться от этого ученого мужа, если только я смогу разыскать его потом».

Но он внезапно переменил решение, видя, что Маргарита возвращается и медленно, поминутно останавливаясь, направляется как будто к тому месту, где он сидит. Теперь он думал лишь о том, как бы поладить с геологом, чтобы тот и представил его, если это будет возможно, как человека благородного звания. Он сразу же приступил к делу. Он знал больше, чем нужно, чтобы задавать умные вопросы. Еще утром, пробираясь через Фалун, он спустился в глубокий рудник и подобрал просто так, для своего удовольствия, несколько образцов пород, к величайшему возмущению Пуффо, который поглядывал на него как на повредившегося в рассудке. К тому же он прекрасно знал, что если ученый обуреваем тщеславием, то достаточно с должным почтением выслушать его речи и дать ему возможность поговорить о своей науке, чтобы

он считал вас за человека очень умного. Так оно и получилось. Не дав себе труда осведомиться о том, как зовут его собеседника, откуда он родом и чем занимается, профессор пустился в подробное описание подземного мира, на поверхности которого он интересовался лишь самим собой, своей репутацией, своими работами и, наконец, успехом собственных наблюдений и открытий.

Во всякое другое время Кристиано слушал бы его с удовольствием, ибо понимал, что имеет дело с человеком знающим, а сам он питал живейший интерес к изучению природы. Но приближалась Маргарита, и ученый, заметя внезапную рассеянность молодого человека, посмотрел своим здоровым глазом в том же направлении и воскликнул:

– А, вот и моя невеста! Нет ничего удивительного! Послушайте, друг мой, я должен вас представить приятнейшей женщине во всем королевстве!

«Значит, это все-таки он! – подумал потрясенный Кристиано. – Положительно это барон Олаус! Он не в себе, и вот безумному старику стараются принести в жертву эту розу снегов!»

Он окончательно уверился в этом, и его еще больше поразило, что Маргарита поспешила к старику.

– А вот и моя любовь! – воскликнула она, обращаясь к мадемуазель Потен.

Затем она добавила, с ласковой улыбкой протягивая руку старику:

– Но как же вы можете, сударь, укрываться в этом уголке, когда невеста ваша вот уже целый час вас разыскивает!

– Вы видите, она меня искала! – с простодушным самодовольством сказал ученый. – Она меня ищет, она скучает, когда меня нет рядом с ней! Что поделать, моя прекрасная возлюбленная! Не моя вина, что всем хочется со мной посоветоваться. И вот милый молодой человек, путешественник... француз, не так ли? Или итальянец, у вас ведь есть небольшой акцент. Позвольте мне, графиня Маргарита, представить вам моего юного друга, господина... Как же вас звать?

– Христиан Гёфле, – уверенно ответил Кристиано. Это имя, а также и тембр голоса, и интонации, которые были ей очень знакомы, заставили Маргариту вздрогнуть.

– Вы сын господина Гёфле? – с живостью осведомилась она. – О! Поразительно, до чего же вы на него похожи!

– Ничего нет удивительного, если близкие родственники так похожи друг на друга, – ответил ученый, – но молодой человек может приходиться только племянником господину Гёфле: ведь Гёфле никогда не был женат, а значит, у него нет детей, так же как и у меня.

– Это еще не причина их не иметь, – шепнул Кристиано на ухо ученому.

– Ах, верно, верно, – ответил тот тем же тоном и с невероятной наивностью, – я и не подумал! Ну и пострел же этот Гёфле! Выходит, вы его побочный сын?

– Да, я воспитывался за границей и только недавно прибыл в Швецию, – ответил Кристиано, в восторге от успеха осенившей его мысли.

– Ну, хорошо, хорошо! – продолжал ученый, очень плохо слушавший все, что прямо его не касалось. – Понимаю, это ясно, вы его племянник. – Затем, обращаясь к Маргарите, он добавил: – Господин этот – мой хороший знакомый, позвольте вам представить его как истинного племянника нашего Гёфле, которого вы не знаете, но с которым, как вы сегодня утром мне говорили, хотели бы познакомиться.

– Я и сейчас это говорю! – воскликнула Маргарита.

И она сразу покраснела, встретившись взглядом с Кристиано, глаза которого напомнили ей своей живостью глаза мнимого Гёфле: как ей показалось, они что-то уж очень сильно блестели из-под пушистой меховой шапки, когда Кристиано время от времени приподнимал зеленые очки адвоката, чтобы получше ее рассмотреть.

– А как это получилось, что вы не танцуете? – продолжал ученый, обращаясь к девушке и не замечая ее смущения. – Я думал, что всю эту ночь вы будете царицею бала и я не смогу вам и словечка сказать.

– Так вот, мой дорогой поклонник, вы ошиблись. Танцевать я не буду: я подвернула ногу на лестнице. Вы не заметили, что я хромаю?

– Нет,нисколько! Вздумали стать похожей на меня? Расскажите господину Гёфле, как я охромел. Это ужасная история, и другому бы из нее живым не выйти. Да, сударь, видите ли, я жертва науки.

И, не дав Маргарите даже раскрыть рот, Стангстадиус принялся с воодушевлением рассказывать, как однажды, когда его спускали в шахту, веревка оборвалась, и он упал с корзиной на самое дно пропасти глубиной в пятьдесят футов семь дюймов и пять линий. Он пролежал без сознания шесть часов пятьдесят три минуты и бог уж знает сколько секунд и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой в течение двух месяцев, четырех дней и трех с половиной часов. Он не преминул также с удручающей пунктуальностью указать точную меру гипса, приходившуюся на каждую пострадавшую часть его тела, и количество – в драмах и скрупулах – всевозможных снадобий, которые он вобрал в себя либо в виде настойки, либо в виде мазей для притираний.

Рассказ получился до чрезвычайности длинным, несмотря на то, что старик говорил быстро и не повторялся. Но память была для него сущим бичом и не позволяла опустить ни одного, даже самого ничтожного обстоятельства, когда он говорил о себе самом; ему и в голову не приходило, что кому-нибудь это может наскучить.

Маргарите, знавшей весь этот рассказ наизусть, незачем было его слушать особенно внимательно, и она улучила несколько минуток, чтобы потихоньку перемолвиться с мадемуазель Потен. Результат их недолгих переговоров, не ускользнувших от внимания Кристиано, не замедлил сказаться. Услужливая Потен ловко воспользовалась моментом, когда старик заканчивал свою историю и собирался начать следующую, и с подкупающим простодушием стала расспрашивать его об одной из глав его последнего труда, который, по ее словам, ей трудно было понять.

Видя, с каким жаром старик углубился в спор с гувернанткой, Кристиано был восхищен женской находчивостью, а в это время глаза Маргариты откровенно говорили ему:

«Я умираю от желания поговорить с вами!»

Он не заставил повторять себе это дважды и последовал за нею на другой конец полукаруга, где она уселась на диван, а он, став рядом с нею в почтительной позе и прикрывая собою амбразуру, искусно заслонял ее от взглядов прогуливавшихся гостей.

– Господин Христиан Гёфле, – сказала она, снова внимательно к нему приглядываясь, – удивительно, до чего вы похожи на вашего дядюшку!

– Мне часто это говорят, графиня, видимо, и в самом деле мы очень похожи.

– Я плохо разглядела, вернее, почти не видела его лица; но голос, манера говорить... ну, в точности те же!

– Мне все-таки думается, что голос у меня помоложе! – ответил Кристиано, который в Стольборге время от времени старательно приглушал свой голос, пытаясь подражать стариковской речи.

– Да, есть, конечно, разница в годах, – сказала молодая девушка, – хотя можно сказать, что у вашего дядюшки голос еще очень звучный. В конце концов, он не очень и стар, не правда ли? Мне показалось, что ему нельзя дать его лет. У него чудесные глаза, и он почти с вас ростом...

– Почти, – сказал Кристиано, невольно бросив взгляд на кафтан законоведа и спрашивая себя, уж не потешается ли над ним Маргарита.

И, решив ускорить объяснение, он сказал:

– Мы с дядей еще кое в чем схожи: мы оба питаем живейший интерес к одной известной вам особе и равно ей преданы.

– Ах, вот оно что, – сказала молодая девушка, краснея еще сильнее, но в словах ее прозвучала такая искренность, что все сомнения Кристиано рассеялись. – Видимо, ваш дядюшка любитель поболтать, если он уже успел рассказать вам о моем сегодняшнем визите.

– Мне неизвестно, доверили ли вы ему какой-либо секрет; в том, что он мне пересказал, никаких тайн нет, вам незачем краснеть.

– Пересказал... пересказал... Уверена, что вы были там, прятались где-нибудь в соседней комнате. Вы все подслушали.

– Ну да, конечно, – ответил Кристиано, поняв, что доверие к нему только возрастет, если он воспользуется мыслью, невинно ему внушенной, – я был в спальне и разбирал дядины бумаги. Он и не знал об этом, а я невольно все услышал.

– Вот приятный сюрприз! – заметила Маргарита, хоть и смущенная, однако в глубине души довольная, сама не зная почему. – Вместо одного поверенного я нашла двух!

– По-видимому, вашими устами говорил ангел во плоти, но сейчас у меня появилось опасение, уж не был ли это скорее злой демон?

– Спасибо за доброе мнение обо мне! Но разрешите спросить, на чем же оно основано?

– На притворстве, которого я никак не могу понять. Вы описали барона Олауса как чудовище телом и душой...

– Простите, сударь, вы плохо слушали. Я описала его человеком неприятным, страшным, но я никогда не говорила, что он некрасив.

– Как раз это вы могли сказать, ибо, откровенно говоря, он совершеннейший урод.

– У него действительно жестокое и холодное лицо, это верно, но все как один говорят, что у него очень правильные черты.

– У здешних жителей странная манера судить о виденном. Но не будем спорить о вкусах. Я смотрю иначе. Я нахожу его некрасивым и неуклюжим, но добродушным и препотешным...

– Вы, конечно, смеетесь, господин Христиан Гёфле, или это недоразумение. Да простит мне Бог, но глазами вы указывали на господина напротив. Неужто же его вы и приняли за барона Вальдемора?

– Кто же иной, если не барон, может говорить о вас как о своей невесте, кого же, как не его, вы можете весело называть своим возлюбленным?

Маргарита расхохоталась.

– О, в самом деле, если вы могли подумать, что я обращаюсь с бароном так запросто, по-дружески, вы должны были счесть меня лгуницей или очень непоследовательной; но, слава богу, я ни то ни другое. Тот, кого я в шутку называю своим возлюбленным, не кто иной, как доктор наук Стангстадиус, и не может быть, чтобы вы не были о нем наслышаны от вашего дядюшки.

– Доктор Стангстадиус? – повторил Кристиано с большим облегчением. – Ну что ж, признаюсь, я не знаю даже его имени. Я приехал из дальних стран, где провел всю жизнь.

– Тогда, – сказала Маргарита, – мне понятно, что вы не знаете ученого минералога. Как вы совершенно верно заметили, это превосходный человек, иногда немного вспыльчивый, но не злопамятный. Добавлю, что он прост, как ребенок, и что бывают дни, когда он всерьез верит в мою *страсть* к нему, и старается от меня отделаться, говоря, что такие люди, как он, принадлежат всему обществу и не могут посвятить себя какой-нибудь одной женщине. Я познакомилась с этим человеком очень давно, еще тогда, когда он приехал для своих ученых занятий в наши края, в тот замок, где я воспитывалась. Он провел там несколько недель, и тетя позволила ему меня навещать, когда он бывает по делам в этих местах. Это единственный человек, которого я здесь знала, когда мы сюда приехали, ибо, надо вам сказать, барон Олаус поручил ему вести работы в своем имении. Но вот уже тетя ищет меня и сейчас начнет меня бранить, вот увидите!

– Вы хотите, чтобы она вас не видела? Пройдите между стеной и этими охотничьими трофеями.

– Пусть и Потен тоже сюда придет, только никогда нам не уговорить господина Стангстадиуса, чтобы он нас не выдавал. Увы! Тетушка начнет меня теревить, требуя, чтобы я танцевала с бароном, а я упорно буду ссылаться на свою хромоту, хотя на самом деле прихрамываю почти незаметно.

– Надеюсь, вы совсем не хромаете?

– Все-таки прихрамываю. Мне посчастливилось только что упасть у нее на глазах, когда я шла по лестнице. Я отделалась легкой болью в щиколотке, но скорчила немало гримас, желая доказать, что никак не могу открыть бал менуэтом в паре с хозяином дома. Тете пришлось заменить меня другой, вот почему я здесь; но все кончено, она идет сюда!

Действительно, графиня Эльфрида Эльведа приближалась, и Кристиано пришлось немного отодвинуться от Маргариты, подле которой он сидел.

Графиня была невысокой, довольно полной женщиной, едва достигшей тридцати пяти лет, хорошо выглядевшей, живой, решительной и очень кокетливой, больше, правда, из любви к интригам, чем из желания понравиться.

Она была одной из самых пылких сторонниц шведской партии «колпаков», иными словами, интриговала в пользу России против Франции, приверженцы которой называли себя «шляпами», а также отстаивала интересы знати и лютеранского духовенства против королевской власти, искавшей, естественно, опоры в других сословиях, в горожанах и крестьянстве.

В юности она, по-видимому, отличалась привлекательностью, да и сейчас была еще достаточно красива, а ум ее и положение в обществе также помогали ей одерживать победы. Но Кристиано не понравилась ее манера держать себя, то высокомерная, то чересчур фамильярная. С первого взгляда заметив в ней двуличие и упрямство, он решил, что и то и другое опасно для будущего Маргариты.

– Ну что же, – спросила она племянницу язвительным и резким тоном, – что ты так жмешься к печке, точно замерзла? Подойди, мне надо с тобой поговорить.

– Хорошо, тетушка, – отвечала лукавая Маргарита, делая вид, что ей трудно встать, – но у меня действительно очень болит нога! Я не могла танцевать в большой зале, и мне стало холодно.

– Но с кем вы тут болтали? – спросила у нее графиня, оглядывая Кристиано, который вновь присоединился к Стангстадиусу.

– С племянником вашего друга Гёфле, с которым меня сейчас познакомил господин Стангстадиус. Хотите, тетушка, я вам его представлю?

Кристиано, который пропускал мимо ушей все, что ему говорил ученый, отлично слышал ответ Маргариты и, решившись на все, лишь бы продолжать знакомство с племянницей, сам подошел приветствовать тетушку и сделал это так почтительно и непринужденно, что произвел на нее хорошее впечатление. Надо полагать, она очень нуждалась в расположении Гёфле, ибо, несмотря на заурядное и отнюдь не дворянское имя, которое присвоил себе Кристиано, она отнеслась к нему не хуже, чем если бы он принадлежал к знатному шведскому роду. Затем, когда Стангстадиус подтвердил, что это достойнейший молодой человек, она сказала:

– Мне очень приятно с вами познакомиться, и я в претензии на господина Гёфле, что он ни разу не похвалился мне, что у него такой хороший племянник. Вы тоже занимаетесь науками, как наш знаменитый друг Стангстадиус? Это весьма одобряется. Это один из лучших путей, какой может выбрать молодой человек. С помощью науки можно даже достичь самого приятного положения в свете – заставить себя уважать, ничем ради этого не поступаясь.

– Я вижу, – заметил Кристиано, – что именно так обстоит дело в Швеции, к чести этой благородной страны будь сказано; но в Италии, где я воспитывался, и даже во Франции, где

я прожил некоторое время, ученые обычно бедны и не получают настоящего поощрения, а подчас даже подвергаются преследованию со стороны религиозных фанатиков.

Этот ответ привел нашего геолога в неописуемую радость, ибо льстил его национальному самолюбию, и бесконечно понравился графине, которая презирала Францию.

– Вы совершенно правы, – сказала она, – и я не понимаю вашего дядю, пожелавшего воспитывать вас в чужих странах, а не у себя на родине, где судьба студента столь почетна и счастлива.

– Ему хотелось, – на всякий случай ответил Кристиано, – чтобы я смог легко изъясняться на иностранных языках. Но ради этого, я думаю, незачем было засылать меня в такую даль, так как я замечаю, что по-французски тут говорят не хуже, чем в самой Франции.

– Благодарю вас за комплимент, – сказала графиня, – но вы нам льстите. Вряд ли все-таки мы говорим по-французски так хорошо, как вы. Что до итальянского, то на нем мы говорим и того хуже, хотя этот язык и входит в наше воспитание, если оно может назваться хорошим. Поговорите-ка по-итальянски с моей племянницей, а если она будет коверкать этот язык, посмейтесь над ней, очень вас прошу. Только почему все же господин Гёфле придает такое значение живым языкам? Уж не предназначает ли он вас к дипломатической карьере?

– Очень может быть, ваше сиятельство; мне еще не вполне известны его намерения.

– Что вы говорите! – воскликнул геолог.

– Успокойтесь, дорогой профессор, – сказала графиня. – Этой стороной дела еще надо заняться. Все жизненные пути хороши, если умеешь продвигаться.

– Если госпожа графиня соблаговолит давать мне советы, – начал Кристиано, – я почту себя счастливым и глубоко обязанным.

– Ну что же, весьма охотно, – ответила она, глядя на него приветливо и дружелюбно, – мы поболтаем, и я о вас позабочусь, тем более что вы обладаете всем необходимым для успеха в свете. Проводите нас в танцевальную залу, мне непременно хочется заставить мою племянницу станцевать хотя бы один менуэт; это не утомительно, а ее отказ может показаться неуместным. Слышишь, Маргарита. Надо делать то, что делают все!

– Знаете, тетушка, – сказала Маргарита, – не у всех ведь нога болит!

– В свете, дитя мое, – начала графиня, – я это говорю и для вас, господин Гёфле, не может быть никаких помех, когда речь заходит об учтивости и приятном обхождении. Запомните хорошенько: если судьба наша складывается неудачно, мы всегда в этом виноваты сами. Надо иметь железную волю, преодолевать холод и жару, голод и жажду, уметь переносить большие страдания, равно как и мелкие неприятности. Свет – это отнюдь не сказочный замок, где люди только и делают, что развлекаются, как это представляешь себе в молодости. Совсем наоборот, это горнило испытаний, где любые преграды, любые желания, любое отвращение следует преодолевать с истинным стоицизмом... когда у тебя есть какая-то цель! А ведь только глупец живет без цели. Справьтесь у своего *возлюбленного*, Маргарита, думает ли он о своих удобствах и боится ли ушибиться, спускаясь в пропасть, чтобы найти там то, что является целью его жизни! Так вот, под дворцовыми сводами, так же как и в глубинах рудников, есть немало всяких ужасов, которых человек не должен бояться. Потанцевать с небольшой болью в шиколотке – такой пустяк в сравнении со многим, что ты узнаешь в будущем. Полно. Вставай и пойдем!

Маргарита невольно обратила горестный взгляд на Кристиано, точно говоря:

«Вот видите, мне никогда не удастся настоять на своем».

– Вы позволите мне предложить руку графине Маргарите? – спросил Кристиано у ее властной тетушки. – Она действительно хромает.

– Нет, нет, все это одни капризы! Вот увидите, ей совсем не захочется прихрамывать, это же очень некрасиво. Маргарита, подайте руку господину Стангстадиусу и проходите вперед, чтобы мы могли видеть, кто из вас двоих больше припадает на ногу.

– Это я-то хромаю! – вскричал ученый. – Я хромаю, только когда я об этом не думаю! Если я захочу, я хожу в десять раз быстрее и держусь прямее, чем лучшие ходоки! Ах! Хотел бы я, чтобы вы меня в горах повидали, когда порою надо показать ленивому проводнику, что человек может сделать все, чего захочет!

Говоря это, Стангстадиус принялся очень быстро шагать, так сильно переваливаясь с ноги на ногу, что бедная Маргарита, которую он увлекал за собой, едва касалась пола.

– Дайте мне руку, – попросила Кристиано графиня Эльфрида, – хоть я, правда, не нуждаюсь ни в охране, ни в опоре, но мне просто хочется побеседовать с вами.

Идя быстрыми шагами и продолжая говорить на ходу, она добавила:

– Ваш дядя вам, должно быть, говорил, что я хочу выдать племянницу за барона Вальдемора?

– Действительно, ваше сиятельство, он мне об этом говорил... сегодня вечером.

– Сегодня? Он приехал? Я не знала, что он уже здесь.

– Он, должно быть, не нашел места в замке и остановился в Стольборге.

– Как! В этом пристанище злых духов? Что ж, в хорошей же он там будет компании, но на бал он разве не придет?

– Надеюсь, что нет! – неожиданно вырвалось у Кристиано.

– Надеется, что нет?

– У него ведь подагра. Ему необходим отдых.

– Как, у него подагра? Вот уж не повезло ему, он ведь такой подвижной и деятельный! Никогда у него не было подагры, и он был уверен, что так и проживет без нее.

– Совсем недавно, на этих днях, у него был приступ. Он послал сюда меня вместо себя, прося передать вам его нижайшие поклоны и получить ваши распоряжения, дабы я мог их ему сообщить наутро, как только он проснется.

– Ну, вот и прекрасно. Вы передадите ему все, что я вам скажу. Тайны я из этого не делаю. Я заметила, что стоит предать какой-либо проект огласке, и он уже тем самым наполовину осуществлен. Итак, я хочу выдать племянницу за барона. Вы скажете, что он не молод: лишний повод для него поскорее отвести от себя дюжину несносных наследников, обхаживающих его без всякого толку. Да вот как раз двое из них проходят мимо; один – это граф Нора, человек безобидный, другой – барон Линденвальд, умный интриган, честолюбец, но беден, как и вся наша нынешняя знать. Барон Олаус, у которого нет братьев, составляет счастливое исключение, но могу сказать – и вам и вашему дяде, – что он склонен остановить свой выбор на моей племяннице, она же к нему склонности не питает. Меня это, правда, ничуть не тревожит: племянница моя – еще дитя, она уступит. Так как моя воля стала всем известна, ухаживать за ней никто больше не посмеет, это я беру на себя. Вашему дяде остается лишь убедить барона, а сделать это очень легко.

– Если графиня удостоит меня своими указаниями...

– Вот они в двух словах: моя племянница любит барона.

– В самом деле?

– Как! Вам еще непонятно? Вы же готовитесь в дипломаты!

– Ах, да, конечно; простите, сударыня... Считается, что графиня Маргарита любит барона, хотя на самом деле она его не выносит, и...

– И нужно, чтобы барон поверил, что он любим.

– Стало быть, Гёфле должен рассказать ему всю эту историю?

– Только он. Барон очень недоверчив. Я давно его знаю; убедить его мне не удастся. Он подозревает, что я имею на него виды.

– А у вас их нет, – сказал, улыбаясь, Кристиано.

– Есть, только... для моей племянницы. Разве это не мой долг по отношению к ней?

– Разумеется, но согласится ли Гёфле на это маленькое преувеличение?



– Чтобы адвокат постеснялся слегка прикрасить истину? Что вы мне говорите! Ради того, чтобы выиграть дело, ваш милейший дядюшка и не на такое пойдет!

– Конечно, но поверит ли барон?

– Барон во всем доверяет Гёфле. Он считает его единственным искренним человеком.

– Господин барон хочет, чтобы его любили ради него самого?

– Да, у него есть такая странность.

– Если он любит графиню Маргариту, то легко поддастся иллюзии!

– Любить! Да разве в его годы любят? Вовсе не в этом дело! Это человек серьезный, думающий о женитьбе, чтобы иметь наследника, ведь его сын умер два года назад. Он хочет обладать красивой женой благородного происхождения, и ему нужно только, чтобы она не сделала его посмешищем. А с моей племянницей он ничем не рискует. У нее есть принципы. Будет ли она довольна своей участью или нет, она себя не уронит. Можете сказать это вашему дяде, чтобы его убедить. Обещайте вдобавок мою благодарность, она чего-нибудь да стоит, он это прекрасно знает. Мое положение помогает мне оказывать большую услугу в обмен за малую. Начнем с того, чего он хотел бы для вас? Чего вы сами хотите? Хотите сразу стать атташе и прочно укрепиться в русском посольстве? Мне стоит лишь сказать слово. Посол здесь.

– Боже упаси! – воскликнул Кристиано, ненавидевший Россию.

Но он спохватился, не желая пока что ссориться с графиней, и закончил фразу так:

– Боже меня упаси позабыть о ваших милостях! Я сделаю все, чтобы их заслужить.

– Ну, так сразу же и начинайте.

– Должен ли я отправиться в Стольборг разбудить дядю?

– Нет; пока длится бал, подходите время от времени к моей племяннице и заговаривайте с ней. Воспользуйтесь этим, чтобы расхваливать ей барона.

– Но я ведь его не знаю.

– Вы его видели, этого достаточно: говорите так, словно вас поразили его благородное лицо и величественная осанка.

– Я охотно бы это сделал, если бы мне довелось его видеть, но...

– Ах! Вы еще не поздоровались с ним? Идемте, я берусь вас ему представить. Или нет, не так. Вы попросите Маргариту показать его вам и тотчас же восхититесь красотой его черт. Это будет простодушно, непосредственно и куда лучше заранее заготовленных похвал.

– Но как может мое мнение, пусть даже искреннее, повлиять на взгляды вашей племянницы?

– В Швеции каждый, кто путешествовал, стоит двоих, а то и троих. А к тому же разве вы не знаете, что молодые девицы ни в чем сами не разбираются, что в выборе они руководствуются самолюбием, а не склонностью, и поэтому человек, которым они более всего восхищаются, будет тот, кто вызывает наибольшее восхищение у других. Взгляните, вот моя племянница среди молодых особ, которые не прочь снискать расположение барона! Вот и отлично, что она сидит с ними. Я оставляю ее там, а вы вмешайтесь в их пересуды, и чтобы помочь вам исполнить то, что вы мне пообещали, я сейчас возьму барона под руку и пройду с ним на виду у этой чинной компании. Пользуйтесь случаем.

– Но ежели барон ненароком меня приметит, он спросит, кто этот дурень, который даже не попросил себя представить ему и до того неотесан, что не сумел этого сделать сам?

– Не бойтесь, я все беру на себя. К тому же барон вас не увидит. У него плохое зрение, и он различает людей только по голосу. На охоте он носит очки и бьет очень метко, но в свете из кокетства он этого себе не позволяет. Итак, решено. Ступайте!

Минуту спустя Кристиано уже оказался в кружке прелестных барышень, отдыхавших между двумя танцами. Чтобы присоединиться к ним, он обратился к мадемуазель Потен, стоявшей в последнем ряду, сказав ей несколько любезных слов, к которым бедная девушка была очень чувствительна. Маргарита с удовольствием заметила, что он примкнул к группе молодых

людей, окружавших кресла своих дам, и те тут же узнали от нее, что это «достойный молодой человек, племянник знаменитого адвоката Гёфле, близкого друга тетушки». Некоторые надули губки, считая, что не полагается человеку незнатному ухаживать за ними наравне с молодыми офицерами индельты<sup>4</sup>, которые, как правило, происходили из хороших семей; но большинство девушек приняло его радушно, найдя его очень милым.

Дело в том, что, как и многие другие искатели приключений этой богатой приключениями эпохи, Кристиано и вправду был очень мил. Природа наделила его той красотой, которая должна была нравиться в этих краях: высоким ростом, белой кожей, свежим цветом лица, синими глазами, опущенными длинными ресницами, черными как смоль бровями, пышными волосами. Никто не сомневался, что это чистокровный далекарлиец, характерный представитель народности, резко отличающейся от всего прочего населения скандинавских стран. В нем было еще что-то, что выделяло его и обращало на себя внимание: какая-то необычная манера держать себя, особая мягкость речи, и в этом ощущалось влияние более цивилизованного и изысканного общества, нечто очень тонкое, итальянское или французское, исходившее от всего его облика. Как только узнали, что он воспитывался в Италии, его засыпали вопросами. Ответы его дышали здравым смыслом, искренностью и весельем, и, поболтав с молодыми девушками каких-нибудь четверть часа, он вскружил им всем головы. Хоть Кристиано и не был фатом, его это нисколько не удивило. Он давно уже привык нравиться, и, пожелав во что бы то ни стало разыграть из себя в этот вечер человека светского, он понимал, что справится с этой ролью лучше большинства присутствовавших на бале людей, титулованных и увешанных орденами, и что помешать этому может только нечто непредвиденное, но тогда уже это будет настоящим провалом.

Между тем маленькая графиня Эльфрида, вцепившись, или, скорее, повиснув на руке огромного барона Олауса, уже дважды прошла мимо, не встретив взгляда Кристиано. На третий раз она громко кашлянула, потом подвела барона к Маргарите, и Кристиано, уловив наконец ее намерение, оторвался от упоительной беседы и отошел, чтобы разглядеть барона, не привлекая к себе его внимания.

Барон Олаус был очень высоким, грузным и, несмотря на свой возраст, красивым мужчиной, но лицо его действительно отпугивало своей матовой белизной и какой-то зловещей неподвижностью. Его пристальный взор сковывал, как порывы ледяного ветра, от которых захватывает дух, а губы пытались изобразить мрачное подобие улыбки, исполненной презрения и тоски. Его невыразительный голос был неприятно сух; стоило Кристиано услышать, как барон обращается к Маргарите, и он тотчас узнал в нем человека, который час назад так дешево продавал Швецию, изливаясь в своих чувствах перед русским дипломатом. Он узнал его и по высокому росту и богатой одежде темного цвета, которую приметил, слушая, как он расписывал свою родину врагу.

– Так вы решительно не желаете потанцевать, – обратился раздосадованный барон к Маргарите, – у вас очень болит нога?

Графиня Эльфрида не дала Маргарите ответить.

– О, это сущие пустяки, – вмешалась она, – Маргарита сейчас пойдет танцевать.

И она увела барона прочь, снова кинув на Кристиано весьма властный взгляд. Кристиано же истолковал ее приказание по-своему.

– Так это и есть барон Олаус Вальдемора? – спросил он у Маргариты, подходя к ней и к мадемуазель Потен, которая вплотную придвинулась к девушке при виде хозяина замка.

– Это он, – с горькой улыбкой отвечала Маргарита. – Как вы его находите?

– Этот человек, возможно, был красив лет тридцать тому назад.

<sup>4</sup> **Индельта** – регулярная армия, расквартированная на постоянное жительство по хуторам и имеющая особую организацию. (Примеч. автора.)

- По меньшей мере! – подхватила Маргарита со вздохом. – А лицо его вам нравится?
- Да. Я люблю веселые лица. А у него оно такое...
- Страшное, правда?
- Так что же вы говорили дяде? – спросил Кристиано, усаживаясь позади ее кресла и понижая голос. – Он убил свою невестку?
- Так думают.
- А я уверен в этом!
- О! Потому что...
- Потому что, должно быть, он вот так глядел на нее!
- А правда ведь, у него взгляд как у моржа?
- Вы немного преувеличиваете, – заметила мадемуазель Потен, которая, без сомнения, была запугана какой-нибудь молчаливой угрозой графини Эльфриды, – у него пристальный взгляд незрячих людей.
- Да! Совершенно верно, смерть слепа, – сказал Кристиано. – Но кто же прозвал его Снеговиком? Прозвище подходящее: для меня оно олицетворяет шпицбергенскую стужу. Меня дрожь пробрала.
- А тик у него какой, заметили? – спросила Маргарита.
- Он поднес руку ко лбу, словно собиралсятереть пот; вы об этом?
- Вот именно.
- Может быть, Снеговик хочет, чтобы думали, будто его в пот бросило, а он просто-напросто подтаивает.
- Вот видите, я права, что боюсь его. А на его черный бриллиант вы обратили внимание?
- Да, я заметил *омерзительный* черный бриллиант, когда он отирал лоб своей иссохшей рукой; рука-то иссохшая, хотя живот у него толстый и лицо одутловатое.
- О ком это вы говорите? – спросила молоденькая русская девушка, приподнявшаяся, чтобы расправить платье на своих фижмах. – Не о бароне ли Вальдемора?
- Я как раз утверждал, – не смущаясь, ответил Кристиано, – что этому человеку и трех месяцев не протянуть.
- Ну, раз так, – ответила, смеясь, русская, – торопитесь выйти за него замуж, Маргарита!
- Приберегите этот совет для себя, Ольга, – ответила молодая графиня.
- Увы! У меня нет, как у вас, такой тети, перед которой ничто не устоит! Но почему вам кажется, господин Гёфле, что барон так болен?
- По его неравномерной полноте, по желтизне белков его стекловидных глаз, по втянутым ноздрям его горбатого носа, а больше всего по чему-то неуловимому, что я ощутил, когда взглянул на него.
- В самом деле? Вы наделены ясновидением, как здешние обитатели севера?
- Сам не знаю. Я не считаю себя колдуном, но верю, что есть натуры более или менее чувствительные к некоторым таинственным влияниям, и ручаюсь вам, что барон Вальдемора недолговечен.
- По-моему, – сказала Маргарита, – он давным-давно мертв, но владеет каким-то дьявольским секретом выдавать себя за живого.
- Верно, он похож на привидение, – встала Ольга, – но все равно я считаю его красивым, несмотря на его годы, в нем есть какая-то завораживающая сила. Он мне снился прошлой ночью. Мне было страшно, и этот страх был сладостен. Объясните мне почему!
- Это очень просто, – отвечала Маргарита, – барон – великий алхимик: он умеет делать бриллианты! А сегодня утром вы ведь говорили, что за бриллианты пошли бы на сделку с дьяволом!
- Вы злючка, Маргарита. А если бы я это рассказала кому-то, кто передал бы все барону в том виде, как вы это повернули, ручаюсь, вам было бы очень досадно.

– Вы тоже так думаете, господин Гёфле? – спросила Маргарита у Кристиано.

– Нет, – отвечал он, – к чему бриллианты ангелам? Разве у них нет звезд?

Маргарита покраснела и, обращаясь к русской девушке, молвила:

– Милая Ольга, я вас умоляю, скажите сами барону, что я его не переносу. Вы окажете мне большую услугу. А в подтверждение... Вот браслет, он вам так нравится! Поссорьте меня с бароном, и браслет ваш.

– Ну, вот еще! А что скажет ваша тетя?

– Я скажу, что потеряла его, а вы его пока не надевайте. Вот и все. Смотрите, барон опять к нам идет, хочет меня пригласить снова. Начинается менюэт. Я откажусь. Тетя там занята политическими разговорами с русским посланником. Станьте рядом со мной, барону придется пригласить вас.

Действительно, барон с замогильным видом подошел подтвердить свое приглашение. Маргарита задрожала всем телом, когда он протянул руку, ожидая, что она вложит в нее свою, и произнес:

– Графиня Эльведа сказала, что теперь вы пожелаете танцевать, и я велел повторить для вас менюэт.

Маргарита поднялась, сделала шаг и вдруг снова упала в кресло.

– Мне хотелось послушаться тети, – проговорила она решительно, – но вы видите, господин барон, я не могу, и не думаю, чтобы вы захотели подвергать меня пытке.

Барон удивленно развел руками. Это был человек умный, очень хорошо воспитанный и крайне недоверчивый. Графине не удалось провести его настолько, чтобы по малейшему признаку он не распознал отвращения Маргариты, а оно было столь явно, что сомневаться не приходилось. В улыбке его проглянуло глубочайшее презрение, и он с изящной иронией ответил:

– Вы, право, слишком добры ко мне, мадемуазель, поверьте мне, я глубоко тронут!

И тотчас, обратясь к Ольге, он пригласил ее и взял за руку, а Маргарита тем временем наскоро расстегнула драгоценный браслет и успела сунуть его честолюбивой девушке.

– Господин Гёфле, – порывисто воскликнула она, обращаясь к Кристиано; голос ее дрожал. – Вы принесли мне счастье, я спасена!

– Однако вы побледнели, – заметил Кристиано, – вы дрожите.

– А как же иначе! Я испугалась, а сейчас думаю, как, должно быть, рассердится тетушка, и мне снова становится страшно! Но все равно, я избавилась от барона! Он мне отомстит, до смерти, может быть, доведет, но я не стану его женой, не буду носить его имени, не дотронусь до его обгаренной кровью руки!

– Замолчите, ради бога, замолчите! – твердила мадемуазель Потен, столь же бледная и перепуганная, как она. – Вас могут услышать! Вы вели себя храбро, и я вас поздравляю, но в глубине души вам страшно, а сейчас вы так возбуждены, что, того гляди, заболаете. Боже мой! Только не упадите, дорогая моя, вот, нате, понюхайте!

– Не бойся, моя милая, – ответила Маргарита, – вот мне уже и лучше. А гости что-нибудь заметили? Я еще не решаюсь ни на кого взглянуть.

– Нет, слава богу, громкая ритурнель оркестра заглушила слова, а все девицы как раз встали с мест для танца. Мы почти одни здесь, в уголке. Не оставайтесь на виду. Самое главное, чтобы тетушка не устроила вам сцены, пока вы в таком состоянии. Уйдемте, вернемся к вам в комнату. Обопритесь на мою руку.

– Я больше вас не увижу? – сказал Кристиано, не будучи в силах скрыть волнение.

– Увидите, – ответила Маргарита, – мне хочется еще с вами поговорить; приходите через час...

– Где мне найти вас? Скажите!

– Не знаю... Ну хорошо, в буфетной!

И Маргарита удалилась, а Кристиано тотчас покинул гостиную через другую дверь и отправился на поиски условленного места встречи, чтобы попусту не плутать в нужную минуту. К тому же слово «буфетная» возбудило в нем чувство, которое мучило его с момента приезда на бал, как бы ни был он увлечен своим приключением.

«Если там никого нет, я нанесу страшнейший урон хозяйским запасам», – подумал он про себя.

Покуда он направляется к этому святилищу, посмотрим, что происходит в гостиной.

## IV

Разумеется, барон не любил танцевать, и не с его телосложением было выделять антраша: однако в те времена имелись благородные танцы, и в них принимали участие самые степенные люди, приобщаясь тем самым к светской жизни. Барон, вдовевший уже давно, не задавал праздников, покуда был жив его будущий наследник; но, видя, что имени его суждено умереть вместе с ним, а титулам и богатству грозит опасность перейти к другой линии рода, которую он ненавидел, он твердо решил поскорее жениться вторично и найти себе отнюдь не любезную подругу жизни, в чем у него не было ни малейшей потребности, а просто молоденькую девушку, у которой родились бы дети. И вот он поставил замок на широкую ногу и со всей округи созвал особ прекрасного пола с единой целью возложить баронскую корону на самую зазорную головку, которая бы этого захотела.

Графиня Эльфрида думала уже заполучить ее. Но ее игру разгадали, у старого жениха открылись глаза. Он понял, что смешон, и поклялся отомстить тетке, а равно и племяннице; но к этой клятве, которую он поспешил произнести, присоединилось решение не дать себя обмануть второй раз и самому устроить свои дела, остановив свой выбор на первой попавшейся девице благородного происхождения, которая окажется к нему благосклонной. Девицей этой стала Ольга; у него отпали на этот счет все сомнения, когда она рассказала ему шепотом, как Маргарита уступила ей свои права и притязания на его сердце. Она нагло сплела сеть интриг с притворным простодушием и с видом невинного ребенка, каким она во многих отношениях и была, но вместе с тем как женщина, снедаемая честолюбием и действующая расчетливо и умело. Будучи человеком неглупым, барон поддержал ее болтовню, делая вид, что не придает ей значения, но по окончании танца, вместо того чтобы отвести Ольгу на место, он предложил ей руку и повел в галерею, широкие просторы которой позволяли уединиться. И там, сжав своими ледяными руками ее горевшую руку, он холодно сказал:

– Ольга, вы молоды и прекрасны; но вы бедны, а благородное происхождение ваше не позволяет вам выйти замуж за какого-нибудь красавца без имени. От вас одной зависит, чтобы ваша милая болтовня перестала быть болтовней. Предлагаю вам свое имя и блестящую будущность. Ответьте мне серьезно и немедленно, ибо мы с вами никогда больше не вернемся к этому разговору.

Ольга действительно была молода, красива, бедна, тщеславна и жадна. Она ухватилась за это предложение и согласилась без малейших колебаний.

– Очень рад, благодарю вас, – сказал Олаус, целуя ей руку. – Разрешите мне не добавлять к этому ни слова. Я был бы смешон, если бы стал говорить вам о любви. А то вы подумали бы, что я рассчитываю на любовь. Мы поженимся. Это решено, и у нас есть веские основания, чтобы пойти на это, и у того и у другого, это правда. Теперь, если вы заинтересованы в том, чтобы брак состоялся, я требую от вас полнейшей тайны в течение нескольких дней; главное, ничего не говорите Маргарите и ее тетке. Можете вы мне это обещать? Поймите, что всякая нескромность приведет к разрыву между нами.

Ольга была слишком заинтересована в этом молчании и со всей искренностью пообещала хранить тайну. Барон вернулся с ней в большую залу.

Их отсутствие было столь недолгим, что если кто-то его и заметил, то вряд ли мог приписать этому обстоятельству какое-либо значение. Однако графиня Эльведа уже заволновалась и пошла поглядеть, куда делась племянница.

– Не беспокойтесь, – сказала Ольга, – она только что здесь была.

– Она прячется, она ни за что не хочет танцевать!

– Нисколько, – возразил барон, – она как раз согласилась, но я сам не захотел злоупотреблять ее любезностью.

И, взяв графиню под руку, он пошел с нею; дорогой он успел сказать ей, что не хочет никакой любви по принуждению, что он взрослый и отлично может сам ухаживать за женщиной, и попросил ее ни во что больше не вмешиваться, если она не хочет, чтобы у него пропала всякая надежда на женитьбу и даже само желание жениться.

Графиню такое торжественное заявление даже успокоило: ведь впервые барон как будто принял решение добиваться руки ее племянницы. При всем своем коварстве и умении вести интригу она на этот раз попала впросак, ибо барон теперь задумал отплатить ей той же монетой и разыграть ее так же ловко, как она разыграла его.

«Удивительно, – рассуждал сам с собой Кристиано, направляясь к буфетной, – насколько самые высокопоставленные интриганки, считающие себя вершительницами судеб простых смертных, глупы в своих ухищрениях, и как легко оставить их в дураках! Так и должно быть, когда исходят, при таком образе жизни, из полного презрения к человеческой природе. Нельзя презирать других, не презирая самого себя, а кто не умеет уважать себя в своих делах, того охватывает бессилие. Тетка была и великолепно и забавна, когда она преспокойно мне говорила: «Я веду племянницу на заклатие; помогите же мне поскорее, вам за все заплатят: вы получите место старшего лакея в хорошем доме!»

Но тут Кристиано прервал свои философские размышления: он вошел в залу, которую искал и которую узнал по запаху жареной дичи, поистине восхитительному. Это была хорошенькая ротонда, где стояли складные столики с закуской, чтобы еще до начала ужина особо проголодавшиеся гости могли немного подкрепиться. А так как в девять часов все уже сидели за большим столом, то зала пустовала, если не считать крепко спавшего лакея, которого Кристиано не стал будить, боясь прослыть обжорою и невеждой. Ничего не выбирая и не выискивая, он взял себе заливного, приготовленного по-французски; но не успел он отрезать кусок ножом с позолоченной ручкой, как дверь с грохотом отворилась, внезапно разбуженный лакей вскочил на ноги, как будто подкинутый пружиной, и вошел Стангстадиус, тяжело и неровно ступая по паркету, так что задрожал хрусталь и зазвенела фарфоровая посуда.

– Ах, черт побери! – воскликнул он, увидя Кристиано. – Как хорошо, что вы тут! Не люблю закусывать в одиночестве, мы с вами поболтаем о серьезных вещах, пока будем удовлетворять слепую потребность нашей жалкой человеческой машины... Ба! Да вы никак собрались закусывать стоя? Ну уж нет, это очень вредно для пищеварения, и толком не распробуете вкус кушанья... Карл, приготовь-ка нам вот этот стол, тот, что побольше... Вот так! И подай нам чего-нибудь получше... Ветчины, закусок? Нет, еще для начала чего-нибудь посущественнее, хороший кусок говядины; а потом выбери кусочек медвежьего окорока повкуснее. Ветчина-то эта, по крайней мере, норвежская? Это лучшее копчение... И вина, Карл, что же ты стал? Мадеры, бордо да добавь несколько бутылочек шампанского для молодого человека, он, должно быть, до него охотник... Вот так, Карл, ну и хватит, мой мальчик; только не отходи далеко, нам скоро и десерт понадобится.

Заказав все, что было надо, Стангстадиус уселся поудобнее спиной к печке и принялся уплетать вовсю яства и так обильно запивать их винами, что Кристиано не выдержал и, нисколько не стыдясь, принялся работать всеми своими тридцатью двумя зубами. Что до учебного, то у него хоть и оставалось их не больше дюжины, он так ловко ими действовал, что нисколько от него не отстал, продолжая при этом болтать без умолку и энергично жестикулировать. Удивленный Кристиано в глубине души сравнивал его со сказочным чудовищем, полукрокодилом-полуобезьяной, и вопрошал себя, как в этом разболтанном теле, с виду тщедушном, с остроконечной, нелепо посаженной головой и расходящимися глазами вмещается такая могучая сила.

Разглагольствования геолога помогли ему разрешить эту задачу. Достойный муж никогда не любил никого, даже своей собаки. Ему все было безразлично, за исключением идей, в кругу

которых он жил как бы одним собою, довольный собою, восторгаясь собою, ублажая себя и опьяняясь похвалами за неимением ничего другого.

– Видите ли, дорогой мой, – отвечал он, когда Кристиано пришел в восхищение от его крепкого здоровья, – меня Господь Бог таким создал и такого другого уже не создаст. Нет, клянусь вам, Ему не суметь! Я не испытываю тех неприятностей, от которых страдают все прочие люди. Начать с того, что я никогда не знал грубого и жалкого недуга любви. Не было у меня в жизни ни минуты, когда бы я забыл себя ради какой-нибудь из этих хорошеньких кукол, из которых вы понаделали себе кумиров. Семьдесят лет женщине или восемнадцать – мне все едино. Когда я голоден и сижу один в хижине, я ем все, что там найдется, а если не нахожу ничего, то принимаюсь обдумывать свои труды и способен переносить голод, не испытывая при этом мучений. За хорошим столом я ем все и наедаюсь до отвала без дурных последствий. Я не страдаю ни от жары, ни от холода; голова у меня всегда пылает, но священным огнем, который не изнашивает организма, но, напротив, поддерживает его и обновляет. Мне незнакомы чувства ненависти или зависти; я знаю, что никто не разбирается в них лучше, чем я; что до завистников, а их много, я их давлю, как червяков, и после моей критики им уже никогда не подняться. Короче говоря, я сделан из железа, золота и алмазов и могу потягаться с земными недрами, ибо вряд ли в них содержится вещество прочнее и драгоценнее того, из которого создан я.

Услышав столь категорическое и откровенное заявление, Кристиано не мог удержаться от приступа смеха, чем ничуть не смутил и не обидел кавалера Полярной Звезды. Напротив, он принял эту смешливость как веселую дань уважения его превосходству во всех областях, и Кристиано понял, что имеет дело со странным возбуждением особого рода, которое он мог бы определить следующим образом: безумие от избытка позитивизма. Было бы совершенно бесполезно расспрашивать его о лицах, интересовавших Кристиано. Стангстадиус соблаговолил лишь заметить, что барон Вальдемора, несмотря на некоторый интерес к науке, в сущности, все же дурак. Что до Маргариты, то он считает, что очень глупо с ее стороны колебаться, когда можно разбогатеть, выйдя за кого-то замуж. Он все же щадил ее немного и признавался, что находит ее приятнее других за то, что она была в него влюблена, что было доказательством наличия у нее здравого смысла, но сам он оставался к ней равнодушен, ибо наука была для него одновременно и женой и любовницей.

– Поистине, господин профессор, – сказал Кристиано, – вы производите на меня впечатление натуры удивительно цельной, и логика ваша просто чудесна.

– Ах, могу вас уверить, – ответил Стангстадиус, – я не уступлю вашему барону Олаусу, чья сила и хладнокровие так восхищают глупцов.

– Моему барону? Право же, мне от него ничего не нужно.

– А я о нем не говорю ни хорошего, ни плохого, – ответил профессор. – Все люди более или менее жалки; но разве он не старается прослыть вольнодумцем, который никогда ничего не любил?

– Неужели он действительно кого-то любил? Значит, лицо его очень обманчиво.

– Не знаю, любил ли он жену, пока она была жива. Чертовка была презлющей.

– Быть может, он преклонялся перед ней?

– Как знать? Она помыкала им как хотела. Во всяком случае, после ее смерти он не мог без нее обходиться и обратился ко мне, чтобы я пережег и кристаллизовал госпожу баронессу.

– Так, так! Значит, пресловутый черный алмаз дело ваших рук?

– Вы его заметили? Не правда ли, прекрасное произведение искусства? Гранильщик терялся в догадках, естественный он или искусственный. Я должен вам рассказать, как я действовал и как мне удалось добиться прозрачности. Я взял тело, покрыл его слоем извести, как это делали древние, поместил на очаг, где ярким пламенем горели дрова, каменный уголь и смолы, облил все это горным маслом. Когда тело сильно уменьшилось...



Кристиано, которому выпало на долю слушать рассказ о том, как сжималась и кристаллизовалась баронесса, решил поскорее поужинать и пропускал все мимо ушей, но он насытился прежде, нежели профессор закончил свою лекцию. Встреча с ним расстроила все планы Кристиано: ему хотелось остаться наедине с Маргаритой и ее гувернанткой. Положение еще больше осложнилось, когда в залу хлынуло множество молодых офицеров индельты.

Этим прожорливым гиперборейцам мало было тех кушаний и напитков, что разносили в большой зале. Они пришли разогреться добрыми испанскими и французскими винами, и Кристиано обнаружил наконец в их обычае отведывать вина особенность, свойственную северянам, которой он ранее не наблюдал. Тогда же он заметил, что манеры их грубоваты, а веселость более тяжеловесна, чем у него. Зато откровенность и сердечность этих молодых людей подкупала. Все его чествовали и заставляли пить за компанию, пока он не почувствовал себя слегка навеселе и, боясь впасть в излишнюю непринужденность, остановился, дивясь, с какой легкостью эти могучие сыны гор поглощали крепкие вина.

Как только ему удалось ускользнуть от их дружеских угощений, он стал возле дверей, чтобы сразу же выйти, как только Маргарита появится в галерее. Он полагал, что, увидя залу, где столько молодых людей пьют вино, она не захочет войти; но она спокойно вошла, а через несколько мгновений следом за ней пришли и другие молодые девушки в сопровождении своих кавалеров. Они расположились за другими столиками, а сидящие там потеснились, чтобы дать им место, и принялись их угощать. Веселье стало шумным и дружным. Язык Версаля был оставлен, все перешли на шведский, а то и на далекарлийское наречие; голоса сделались громче, девицы пили шампанское, не поморщившись, и даже кипрское вино и портвейн, не боясь захмелеть. Среди присутствовавших оказались братья, женихи и кузены; все было домашнему, в отношениях с девушками замечалась приятная непринужденность, подчас экспансивность и некоторая вольность, но, в общем, они подкупали своей целомудренной простотой.

«Вот чистые души, – рассуждал Кристиано, – чего же ради эти люди, когда хотят понравиться, стараются подражать русским или французам, в то время как они так выгадывают, становясь самими собой?»

В маленькой графине Маргарите его пленяло именно то, что она оставалась сама собой при любых обстоятельствах. Конечно, мадемуазель Потен прекрасно ее воспитала, сохранив в ней природную непосредственность. В особенности ему было приятно, что она отказалась от вина. У Кристиано были на этот счет свои предрассудки.

Пока молодежь болтала и смеялась, окружив Стангстадиуса, чей стол с обильными яствами сделался центром и мишенью насмешек, нимало, однако, его не смущавших, Маргарите удалось рассказать Кристиано в доверительном тоне, чем, должно быть, она очень порадовала его, о том, что тетя совсем к ней переменялась: не бранила ее и говорила с ней ласково.

– Как видно, барон ей ничего не сказал о моей выходке, – добавила она, – или, зная об этом, она решила взяться за меня иначе, чтобы вернее склонить к своей цели; как бы то ни было, но я вздохнула свободно, барон мной больше не интересуется, и если даже завтра тетя разбранит меня или отошлет в наказание в Дальбю<sup>[23]</sup>, где я буду совсем одна, я все же хочу повеселиться этой ночью и позабыть все огорчения. Да, да, мне хочется потанцевать и попрыгать, потому что, представьте себе, господин Гёфле, ведь это первый бал в моей жизни, и танцевать мне приходилось только у себя в комнате с моей милой Потен. Поэтому я умираю от желания попробовать свое умение на людях и умираю от страха, что покажусь неуклюжей или перепутаю па французской кадрили. Мне бы надо найти кого-то, кто бы любезно помог и понаблюдал за мной, чтобы дружески предостеречь меня от промахов.

– Такого человека найти нетрудно, – ответил Кристиано, – а если вы мне окажете доверие, ручаюсь, вы станцуете так, точно это ваш сотый бал.

– Ну вот мы и условились, принимаю с благодарностью. Дождемся полуночи. Мы устроим с этими господами и барышнями, что тут собрались, свой собственный маленький бал, в конце галереи, и, может быть, тетя, которая танцует в большой зале с самыми важными особами, не заметит, что вывих мой так быстро прошел.

Кристиано, со своей стороны, начал болтать с прелестной девушкой, а так как он немного захмелел от шампанского, веселость его незаметно перешла в сентиментальность; как вдруг громко произнесенное имя заставило его вздрогнуть и мигом обернуться.

– Христиан Вальдо? – произнес молодой офицер с открытым и живым лицом. – Кто его видел? Где он?

– Да, в самом деле! – воскликнул Кристиано, поднимаясь. – Где Христиан Вальдо, и кто видел его?

– Никто, – послышалось за другим столом. – Кто видел лицо Христиана Вальдо, и кто его когда-нибудь увидит?

– Вы его не видели, господин Гёфле? – спросила Маргарита у Кристиано. – Вы его не знаете?

– Нет! Кто этот Христиан Вальдо, и почему его лицо невозможно увидеть?

– Но вы о нем слышали? Вас поразило его имя?

– Да, потому что оно дошло до моих ушей еще в Стокгольме; но я не обратил на него особенного внимания, и я уже не помню...

– Послушайте, майор, – начал молодой лейтенант, – раз вы знаете этого Вальдо, объясните нам, кто он такой и что он делает. Я ничего еще о нем не знаю.

– Если это удастся майору Ларсону, значит, он человек весьма умелый, – заметила Маргарита. – Что до меня, то я столько всего наслышалась о Христиане Вальдо, что заранее обещаю не поверить ни слову из того, что мы о нем сейчас услышим.

– Однако, – отвечал майор, – честью готов поклясться, что не скажу ничего, о чем не осведомлен как следует. Христиан Вальдо – итальянский актер, разъезжающий из одного города в другой, развлекает народ своими славными шутками и неистощимым весельем; спектакли его состоят из...

– Это мы знаем, – перебила Маргарита, – нам даже известно, что он дает представления то в гостиных, то в тавернах, сегодня во дворце, а завтра в хижине, беря втридорога с богачей, но часто совсем задаром играя для народа.

– Забавнейший чудака, – заметил Кристиано, – что-то вроде паяца.

– Паяц или нет, а человек он необыкновенный, – продолжал майор, – больше того, отважный. Я видел, как в Стокгольме месяц тому назад он храбро дрался с тремя разъяренными пьяными матросами; один из них чуть не побил молоденького юнгу, а возмущенный Христиан Вальдо вырвал у него из рук его жертву. В другой раз этот Христиан кинулся в огонь, чтобы спасти старушку, и всегда отдавал почти весь свой заработок тем, кто вызывал в нем жалость. Наконец, в предместье люди его так полюбили, что, говорят, он вынужден был уехать потихоньку, чтобы ему не устроили торжественных проводов.

– А также, – сказала Маргарита, – чтобы не снимать маски: а то власти начали уже опасаться столь популярного незнакомца и думать, не русский ли он шпион, готовый поднять какой-нибудь мятеж, когда придет время.

– Вы полагаете, – сказал Кристиано, – что этот чудака – ибо, как видно, он все же чудака – русский шпион?

– Ну нет, этому-то я не верю, – ответила Маргарита, – я не из тех, кому всегда хочется, чтобы под обликом доброты и щедрости скрывались дурные намерения.

– Но зачем эта маска? – спросила одна из девушек, жадно слушавшая офицера. – Зачем он всегда надевает черную маску, когда входит в свой театр и выходит оттуда? Может быть, чтобы изобразить итальянского арлекина?

– Нет, он ведь никогда не играет сам в спектакле, который дает публике. Причина тут есть, только никто ее не знает.

– Может быть, – предположил Кристиано, – чтобы скрыть какой-то изъян?

– Поговаривают, что ему нос отрезали, – сказал кто-то из молодых людей.

– А другие уверяют, – добавил третий собеседник, – что это писанный красавец и что хозяева дома, где он остановился в предместье, и еще несколько человек, с которыми он подружился, видели его лицо.

– Кажется даже, – продолжал майор, – он вовсе и не маскируется, если можно так сказать, внутренне; что до его лица, то тут мнения разделяются. Молодая перевозчица, сходявшая с ума от любопытства, добилась того, что он снял маску, и ей стало дурно: она увидела череп.

– Положительно, этот Вальдо – воплощение дьявола, – сказала Маргарита, – если он умеет по желанию прикинуться то красавцем, то привидением. А вам, барышни, не хочется поглядеть на него?

– А вам самой, Маргарита?

– Честно говоря, все мы горим этим желанием, и все-таки нам очень страшно.

– Говорят, что он приедет сюда? – спросила одна из девиц.

– Говорят даже, что он уже здесь, – ответил майор.

– Как, неужели? – вскричала Маргарита. – Он приехал? Мы его увидим? Он, может быть, здесь, на бале?

– Ну, сюда ему было бы трудно попасть, – проговорил Кристиано.

– Почему трудно?

– Потому что фигляр не посмеет появиться в хорошем обществе в качестве приглашенного.

– Ба! Похоже, что этот шутник отважится на все, – сказал майор. – Маска и лицедейство неразлучны с его именем; но утверждают, и это весьма возможно, что под другим именем и без всякой маски он расхаживает по улицам Стокгольма, проникает в дома и что на гуляньях и в самых людных тавернах, заводя разговор о нем, никогда не знаешь, нет ли его где-то рядом и не он ли сам говорит с вами в эту минуту.

– Ну, раз так, – заметил Кристиано, – то можно ли вообще что-нибудь толком о нем узнать? Чего доброго, он сейчас тут, среди нас, в этой комнате!

– Ну уж нет! – возразила Маргарита, обведя глазами стены. – Тут все друг другу знакомы.

– Но меня-то никто не знает? Может быть, я и есть Христиан Вальдо!

– Тогда где же ваш череп? – смеясь, сказала одна из девушек. – Без маски и без черепа вы только мнимый Вальдо! Кстати, господа, кто-нибудь скажет нам, откуда известно, что он приехал?

– Могу вам сказать, – предложил майор, – как я узнал об этом. Какой-то неизвестный попросил здесь пристанища, ему сказали, чтобы он шел на хутор, потому что в доме полно народу. Он назвал себя, показал письмо мажордома Юхана, пригласившего его от имени своего господина, барона, развлечь собравшееся общество. Не знаю, нашелся ли для него уголок в замке или в другом месте. Но что он приехал – это верно.

– Кто вам это рассказал?

– Сам мажордом.

– И он был в маске?

– Да, в маске.

– Как же он выглядит: высокого роста, толстый, статный, кривоногий?

– Об этом мне было незачем спрашивать, я его своими глазами видел в Стокгольме, хотя и в маске. И знаю, что он высок, строен и легок, как олень.

– Может быть, в прошлом он канатный плясун? – заметил Кристиано. Кажется, что разговор уже перестал его занимать и поддерживал он его только из вежливости.

– Нет, что вы, – возразила Маргарита, – это человек, получивший отличное образование. Все в восторге от его пьес – они написаны прекрасным стилем и остроумны.

– А кто докажет, что писал их он сам?

– Люди, сведущие в старой и новой словесности, утверждают, что там ничего не заимствовано. Эти балаганные пустячки, иногда, как говорят, сентиментальные, явились литературным событием в Стокгольме.

– Как вы думаете, мы услышим его завтра? – посыпались вопросы со всех сторон.

– Весьма возможно, – ответил майор, – но если барышням не терпится это узнать, я берусь сам отыскать его и спросить у него об этом.

– Сейчас, в полночь? – спросил Кристиано, поглядев на стенные часы. – Бедный малый, должно быть, давно уже спит. А я-то думал, что графиня Маргарита собиралась представить на обсуждение общества более важное предложение.

– Да, действительно, – воскликнула Маргарита, – мне хотелось предложить вам устроить маленький бал в своей компании. Признаюсь, я здесь новенькая, настоящая дикарка; всего два-три дня, как мы с вами знакомы, но все, кто здесь присутствует, оказали мне прекрасный прием и были со мной так предупредительны, что я беру на себя смелость сказать... Пусть уж господин Гёфле будет так любезен и все вам расскажет сам.

– Дело вот в чем, – начал Кристиано, – графиня Маргарита, как она только что вам сказала, сущая дикарка. Она ничего не умеет, даже танцевать; она неприглядна сверх всякой меры и хромает не меньше, чем наш знаменитый ученый муж Стангстадиус. Помимо того, она неуклюжа, рассеянна, близорука... В общем, чтобы согласиться с ней танцевать, нужна немалая толика истинно христианского милосердия, ибо...

– Довольно, довольно, – вскричала, смеясь, Маргарита, – вы описали мою особу в самых уничижительных тонах, но я все же вам благодарна. Теперь все ждут таких ужасов, что если я хоть кое-как выйду из положения, все будут в восторге! Я хочу дебютировать в небольшом кругу, и если все хотят того же, то мы немножко потанцуем в галерее. Оркестр в большой зале так грохочет, что нам иной музыки не потребуется.

Некоторые молодые люди сразу же устремились к Маргарите, желая стать ее партнерами. Она поблагодарила их, сказав, что Христиан Гёфле заранее уже принес себя в жертву.

– Да, это так, господа! – весело вскричал Кристиано, беря своей рукой в перчатке ручку Маргариты. – Пожалейте меня, и отправимся на пытку!

В одно мгновение место было выбрано, и начался контрданс. Маргарита попросила освободить ее от участия в начинавшейся кадрили.

– Вы ужасно взволнованы, – заметил Кристиано.

– Это верно, – ответила она, – сердце у меня бьется, как у птицы, которая впервые выпорхнула из гнезда и не окончательно уверена в том, что у нее есть крылья.

– Видимо, первый бал – это важное событие в жизни девушки, – сказал наш искатель приключений. – Через год, когда вы в сотый раз пойдете танцевать, вспомните ли вы случайно имя и лицо скромного смертного, которому выпала честь и счастье направлять ваши первые шаги?

– Да, безусловно, господин Гёфле, это воспоминание всегда будет связано с самым сильным волнением в моей жизни, со страхом перед бароном и с радостью освобождения от него усилием воли, на которое я не считала себя способной и на которое, конечно, вы с вашим дядей вдохновили меня.

– А знаете что, – сказал Кристиано, – теперь я не очень-то верю в ваше отвращение к барону.

– Почему же?

– Вас, во всяком случае, гораздо больше пугала необходимость танцевать на людях, чем танцевать с ним.

– И, однако, я с ним не танцевала, а с вами танцую.

Кристиано невольно сжал пальчики Маргариты, но она подумала, что это знак, что пора вступать в танец, и, раскрасневшись от удовольствия и робости, последовала за ним; они смешались с веселой толпой, где вскоре она почувствовала себя совсем уверенно, ибо ее изящество и легкость давали ей на то неоспоримое право.

– Ну вот, кажется, уже и не страшно, – сказала она, возвращаясь на место, в то время как другая четверка начинала новую фигуру.

– Очень уж вы расхрабрились, – отвечал Кристиано. – Я надеялась, что на что-то пригужусь, да, видно, вы успели отрастить себе крылышки и, того гляди, упорхнете с первым встречным.

– Только не с бароном! Но скажите же, отчего вы все-таки решили, что я преувеличила свою неприязнь к нему?

– Боже ты мой! Я вижу, что вы страстно любите танцы, а значит, праздники и роскошь; всякая страсть имеет свои последствия. А если удовольствие – цель, то богатство – средство.

– О, неужели вы находите, что я такая глупенькая и такая дурнушка, что мне не получить богатства иначе, как выйдя за старика?

– Так вы признаетесь, что богатство для вас условие замужества?

– Если бы я ответила «да», то что бы вы обо мне подумали?

– Ничего плохого.

– Да, я всего-навсего стала бы одной из многих, и поэтому вы обо мне ничего хорошего не подумали бы.

Отдыхая после третьей кадрили, которую танцевала их пара, они вновь вернулись к этому щекотливому разговору.

Маргарита сама вызвала Кристиано на откровенность.

– Признайтесь, – начала она, – вы презираете девушек, идущих замуж ради богатства, как Ольга, например, которая находит барона красивым сквозь бриллиантовую призму собственных грез.

– Я никого не презираю, – ответил Кристиано, – от роду я человек терпимый, а может быть, грани моей добродетели просто поистерлись от соприкосновения со светом. Меня восхищает то, что выше суждения света, а к тем, кто следует общему течению, я отношусь с философским равнодушием.

– Восхищает, говорите вы? Не чересчур ли дорогая плата за столь естественную вещь, как бескорыстие? Но я не требую так много, господин Гёфле, мне нужно только ваше уважение. Поверьте, прошу вас, если я не буду стеснена в выборе, я послушаюсь зова сердца, а никак не корысти. Даже если мне никогда не придется носить кружева на рукавах, атласные бантики на платьях и не суждено танцевать при свете тысячи свечей под звуки тридцати скрипок, гобоев и контрабасов, я чувствую себя в силах принести эту огромную жертву, чтобы сохранить свободу чувств и чистую совесть.

Маргарита говорила с жаром. Возбужденная танцем, она ничего не старалась скрыть; благородная романтическая душа ее сквозила в сверкающих глазах, лучезарной улыбке, в этом порыве птицы, рвущейся в облака, в светлых кудрях, змейками струившихся по белым плечам, во взволнованном голосе, словом – во всем ее обаятельном существе. Кристиано был ослеплен, и, точно во сне, сам не зная, что говорит, он вдруг задал Маргарите странный вопрос:

– Все же вы никогда не полюбили бы человека не вашего круга, и если бы, наперекор разуму, сердце ваше склонялось в пользу бедняка, человека без имени, без состояния... скажем, к Христиану Вальдо, полагаю... вы бы устыдились и сочли бы себя в разладе с собственной совестью?

– К Христиану Вальдо! – удивилась Маргарита. – Почему к Христиану Вальдо? Вы выбрали весьма странный пример!

– Чрезвычайно странный, и я это сделал намеренно. Когда исходят от противного... Возьмем такой пример: предположим, этот Христиан Вальдо, которого я совершенно не знаю, обладает смелостью, умом, благородным сердцем, которым его только что наделяли, но вместе с тем неразлучен с бедностью, неизменной спутницей его приключений, и именем, которое им взято, надо полагать, не из тех, что записаны на пергаменте...

– И с головой мертвеца.

– Нет, без головы мертвеца. Так вот, предположим, что вам пришлось бы выбирать себе в мужа между этим человеком и бароном Вальдемора.

– Я приняла бы очень простое решение; я бы вовсе не вышла замуж.

– Если только под маской этого Христиана не оказался бы молодой прекрасный принц, вынужденный скрываться по соображениям государственной важности.

– Полноте, – ответила Маргарита, – еще один царевич Иван, бежавший из тюрьмы<sup>[24]</sup>, или новоявленный Филипп Третий, избегнувший своих убийц!<sup>[25]</sup>

– И в этом случае, настоящий он или мнимый, он в ваших глазах заслужил бы прощение.

– Что вы хотите, чтобы я вам ответила? Итальянский шут не может служить для сравнений, если уж говорить серьезно.

– Это справедливо! – отрезал Кристиано. – Вот и конец; пусть же он будет легок нам, ибо это горсть земли, брошенная на роман под названием «Первый контрданс».

Но этому контрдансу не суждено было окончиться по хореографическим законам. Ибо Стангстадиус, закончив наконец вечернюю трапезу, которую он назвал закуской между ужином и встречей Нового года, вышел в эту минуту из буфетной. Вечно увлеченный какой-то высокой мыслью, вызванной приятной работой здорового желудка, он наткнулся по пути на маленький бал и пошел напролом без церемоний, задевая кавалеров, грациозно выделявавших па аван-де, и то и дело наступая на ножки танцующим дамам, словно шел по камням. Он так смешно ковылял из-за своей хромоты, что все покатались со смеху. Вся фигура танца была смята, и молодые пары, взявшись за руки, завели шумный хоровод вокруг кавалера Полярной Звезды, который, не желая оставаться в долгу, сам принялся припрыгивать не в такт, к вящей потехе всей компании. Но увы! они так развеселились и распелись, что в большой зале наконец обратили на это внимание.

Оркестр закончил последнюю ритурнель, а молодежь даже этого не заметила. Распевая, она плясала вокруг Стангстадиуса, который сравнивал себя с Сатурном, окруженным своим кольцом. Прибежала графиня Эльфрида и, увидя, что племянница ее неожиданно исцелилась, пришла в негодование, с которым на сей раз не смогла совладать.

– Дорогая Маргарита, – сказала она резким, дребезжащим голосом, – ты очень неблагоприятна; ты забыла, что у тебя вывих, а с этим шутить опасно. Я только что говорила с нашим домашним врачом: он назначил тебе на эту ночь полный покой. Пожалуйста, уходи сейчас же отсюда вместе со своей гувернанткой, она уложит тебя в постель и поставит компресс. Поверь, это лучшее, что ты можешь сделать.

И она добавила совсем тихо:

– Изволь повиноваться!

Раскрасневшаяся Маргарита сразу стала бледной и то ли от досады, то ли от огорчения не могла сдержать две крупные слезинки, блеснувшие на длинных ресницах и покатавшиеся по щекам. Графиня Эльфрида поспешно схватила ее за руку и увлекла за собой, добавив шепотом:

– Ты сегодня поклялась делать одни глупости. Ты за это заплатишься. Я простила тебе то, что ты не хотела танцевать с хозяином дома; он действительно мог поверить, что ты нездорова. Но плясать с другим означает вести себя вызывающе по отношению к барону, и я не могу допустить, чтобы он это сам заметил.

Кристиано пошел вслед за Маргаритой, ища способа обезоружить или отвлечь ее тетку, если бы вдруг нашлась удобная минутка, чтобы к ней обратиться, но тут он увидел прибли-

жающегося барона. Он сразу остановился у подножия статуи, внимательно следя за тем, что должно было произойти между этими тремя лицами.

– Как! – воскликнул барон. – Вы уже уводите свою племянницу? Так рано! Она как будто перестала скучать у меня! Прошу вас ее помиловать, и коль скоро, как меня уверяют, она уже танцевала, я прошу ее потанцевать и со мной. Теперь она уже не сможет мне отказать, и я уверен, что она охотно согласится.

– Если вы этого требуете, барон, я уступаю, – сказала графиня. – Поблагодари барона, Маргарита, и следуй за ним; разве ты не видишь, что он предлагает тебе руку для полонеза?

Маргарита колебалась; ее глаза встретились со взглядом Кристиано, в котором боролись желание, чтобы она осталась на бале, и боязнь, что она уступит просьбе барона. Последнее чувство, видимо, преобладало у него во взгляде, и Маргарита твердо ответила барону, что уже приглашена.

– Кем это, скажите, пожалуйста? – вскричала графиня.

– Да, кем? – осведомился барон странным тоном, в спокойствии которого Маргарите почуялось нечто недоброе.

Она опустила глаза и смолкла, не понимая, что происходит в уме ее преследователя, от которого она уже считала себя избавленной.

А у барона не было в мыслях ничего другого, кроме желания помучить и осрамить ее; он прекрасно видел, что она испытывает к нему отвращение, и платил ей от всего сердца той же монетой. Злобную холодность и мстительность он скрыл под шуткой, но говорил достаточно громко, чтобы его слышали многие любопытные уши:

– Где тот счастливый смертный, у кого я должен вас оспаривать? Ибо я решился вас оспаривать, я имею на это право!

– У вас на это есть право? – вскричала Маргарита вне себя. – У вас, господин барон?

– Да, у меня, – отвечал тот с устрашающим издевательским спокойствием, – вам это прекрасно известно! Ну, где же он, сей мнимый соперник, что посмеет плясать с вами у меня под носом?

– Вот он! – откликнулся Кристиано, теряя голову и бросаясь к барону с угрожающим видом, среди всеобщего молчания, вызванного любопытством и страхом.

Было известно, что барон раздражителен и только кажется сонным и пресыщенным. Знали и его непомерную гордость. Все ожидали скандала, и действительно, барон сделался вдруг очень бледен и даже позеленел, мигая большими близорукими глазами, точно из них вот-вот посыплются молнии и уничтожат неизвестного смельчака, открыто бросившего ему вызов; но лицо его стало красным, на лбу вздулась кровавая жила, а губы посинели. Глухой крик вырвался из его груди, руки судорожно вытянулись, и весь он как-то осел, бормоча:

– Он! Он!

Он свалился бы на пол, если бы два десятка услужливых рук не протянулись, чтобы поддержать его. Он потерял сознание, и его пришлось перенести к окну, которое тут же разбили, чтобы ему было чем дышать. Ольга протиснулась сквозь толпу, стремясь оказать ему помощь. Маргарита исчезла, должно быть, тетка куда-то увлекла ее за собой. Нашего Кристиано быстро увел майор Осмунд Ларсон, успевший уже с ним подружиться.

– Пойдемте со мной, – сказал этот славный молодой человек. – Я должен с вами поговорить.

Через две-три минуты Кристиано оказался наедине с Осмундом в старинной зале нижнего этажа, где топился огромный камин.

– Здесь мы можем покурить в свое удовольствие, – сказал майор. – Взгляните, какой богатый набор трубок; выбирайте себе любую по вашему вкусу, а вот табачница, угощайтесь! Видите, на столе лучшее местное пиво и старая данцигская водка. А сейчас и приятели мои явятся с последними новостями.

– Вы, кажется, думаете, что я очень сержусь, милый майор, – отвечал Кристиано, – но вы ошибаетесь. Я ничего другого не желаю, кроме как дать барону время прийти в себя и, покуривая с вами, дожидаться, чтобы он продолжил наше объяснение.

– Зачем? Чтобы драться на дуэли? – спросил майор. – Что вы! Барон никогда не дерется, он ни разу не дрался на дуэли. Вы что, совсем его не знаете?

– Нет, – ответил Кристиано, спокойно набивая трубку и наливая большую кружку пива. – Выходит, что совсем как Дон Кихот я столкнулся с ветряной мельницей? А я и не подозревал, что поставил себя в такое смешное положение.

– Вы не были в смешном положении, дорогой мой; в глазах многих, и в том числе моих, вы даже совершили смелый поступок, не уступив Снеговiku.

– Но мне следовало бы помнить, что он из снега, а снег легко тает.

– Только не в наших краях! У нас такие снеговики выстаивают подолгу.

– Значит, я, сам того не ведая, попал в герои?

– Лишь бы вам не пришлось в этом убедиться на собственной шкуре. Барон не хватается за шпагу, но он мстит и никогда не прощает обиды. Где бы вы ни были, его ненависть последует за вами. Какую бы карьеру вы ни избрали, он не даст вам продвинуться. Если вы попадете в неприятное положение, что может случиться с любым смельчаком, он сумеет добиться, чтобы все окончилось для вас плохо, а если ему удастся засадить вас в тюрьму, то он устроит так, что вы уже оттуда не выйдете. Поэтому советую вам не встречаться с ним у него в доме и во всяком случае – быть настороже до конца жизни, если только черту не заблагорассудится этой ночью свернуть шею своему куманьку и его не хватит удар.

– Вы полагаете, что барон так плох? – спросил Кристиано.

– Мы сейчас узнаем. Вот лейтенант Эрвин Осборн, мой лучший друг, и он, конечно, разделяет мою симпатию к вам. Ну, что, лейтенант, какие новости о Снеговике? Оттепель не приближается?

– Нет, все это пустяки, – ответил лейтенант, – по крайней мере, он уверяет, что пустяки. Он на минутку удалился в свои покои и вышел оттуда такой посвежевший, что можно подумать, будто он наложил на свои бледные щеки румяна. Но все равно: взгляд у него тусклый и речь затруднена. Я подошел к нему просто из любопытства, а он это принял за знак внимания и сообразовал мне сказать, что желает, чтобы гости шли танцевать и перестали им заниматься. Он остался в большой зале, а что ему хуже, чем он хочет признаться, доказывает то, что он совершенно забыл о приступе ярости, который довел его до столь чудесного состояния, и никто не смеет ему об этом напомнить.

– Теперь танцы пойдут на славу, – сказал майор, – и вот увидите, гости повеселятся еще больше прежнего. Все здесь хотят забыться, будто перед какой-то близкой бедой, а наследники, присутствующие в замке, поглядывают с нескрываемой радостью на то, что барон так серьезно занемог. Но скажите-ка нам, Христиан Гёфле, кем вы прикинулись или какими чарами околдовали нашего любезного барона? Может быть, вы призрак или волшебник? Уж не *озерный* ли вы *дух*, завораживающий людей своим леденящим взглядом? Что произошло между вами и бароном и почему, когда он терял сознание, у него вырвался этот загадочный возглас – на этот раз я хорошо его расслышал! «Он! Он!»

– Объясните мне это сами, – сказал в ответ Кристиано, – сколько я ни стараюсь, никак не могу припомнить, где я видел этого человека, а если и видел, то, должно быть, при каких-то незначительных обстоятельствах, раз воспоминание о нем так смутно. Скажите, он не путешествовал по Франции или Италии?..

– Давным-давно уже он не покидает Севера!

– Ну, так, значит, я ошибся: я видел сегодня барона впервые! Однако можно было подумать, что он узнал меня... Не кажется ли вам, что, говоря: «Он! Он!», барон, может быть, просто бредил?



– Несомненно, – подтвердил майор. – В моем бустёлле<sup>5</sup> есть один садовник, которому пришлось у него служить, так вот он сообщил мне прелюбопытные подробности. Барон страдает припадками, которые доктор считает нервными и которые происходят от застарелой болезни печени. Во время припадков он иногда испытывает беспричинный страх. Великий скептик и насмешник становится малодушен, как ребенок; ему являются призраки, в особенности призрак женщины. Тогда-то он и кричит: «Он! Он! Худо мне! Он меня душит!»

– Может случиться, это укоры совести?

– Уверяют, что это воспоминание о его невестке.

– Которую он убил?

– Говорят, что не убил, а просто сделал так, что она исчезла.

– Да, это слово звучит приятнее.

– Но ни то ни другое недостаточно обосновано, – возразил майор. – Фактически же никто ничего не знает, и возможно, что барон неповинен во многих преступлениях, которые ему приписывают. Знаете, мы с вами находимся в замечательном краю, где верят во все чудесное. Далекарлийцы не выносят ничего положительного и не признают никаких естественных объяснений. В этом краю нельзя споткнуться о камень без того, чтобы не подумали, будто домовый нарочно его столкнул вам под ноги, а если у вас зачесался нос, то бегут к колдунье, чтобы она удалила яд карлика, который вас укусил. А если постромка порвалась у возка или саней, то возница, перед тем как ее починить, непременно скажет: «Ну, ну, чертенок, чур меня, чур, мы ведь тебе ничего худого не делали, ступай своей дорогой». Вы сами понимаете, что среди столь суеверных умов барон Вальдемора не мог разбогатеть, не прославив алхимиком. Вместо того чтобы предположить, что ему платила русская царица за то, что он поддерживал ее политические интересы, сочли, что проще обвинить его в колдовстве. От такого упрека один шаг до обвинений в самых черных преступлениях: любому чародею ничего не стоит утопить человека в водопаде, скинуть в пропасть, накрыть его лавиной. Он правит шабаши, питается, по меньшей мере, человеческим мясом и сойдет, пожалуй, за скромника, если удовольствуется высасыванием крови у младенцев. Что до меня, то я такого понаслышался, что больше уж никакие рассказы всерьез не принимаю. С меня хватает и того, что я знаю, а именно, что барон – человек злой, слишком подлый, чтобы убить, слишком избалованный и привередливый, чтобы пить кровь, слишком зябкий, чтобы подстерегать прохожих подо льдом на озере, но способный отправить лучшего друга на виселицу, если ему это выгодно, и для этого он не погнушается никакой клеветой.

– Какой негодяй! – воскликнул Кристиано. – Но позвольте, меня все же удивляет, что в гостях у него столько порядочных людей...

– Да, конечно! – перебил Осмунд, не давая ему договорить. – Прескверная штука приходится развлекаться за счет ненавистного всем человека. Вам-то простительно, вы его не знаете, а уж нам-то...

– Я не хочу переходить на личности, – заметил Кристиано.

– Охотно верю, мой дорогой; только напрасно вы удивляетесь, что у тирана есть свой двор. Вам, без сомнения, известна история вашей страны; но, конечно, отсутствуя долгие годы, вы могли надеяться, что кое-что пришло в равновесие в связи с развитием философии. Но ничего такого не произошло, Христиан Гёфле, ровным счетом ничего, скоро вы увидите это собственными глазами. На первом месте дворянство, за ним следует духовенство, просвещенное, суровое, но деспотическое и нетерпимое. Весьма полезное государству купечество при-

---

<sup>5</sup> Бустёлле офицеров *индельты* – это дом с примыкающим к нему участком земли, предоставленный в пожизненное пользование, который приносит больший или меньший доход, в зависимости от чина офицера; доход этот и составляет его содержание. Церковный дом также называется бустёлле, и священник может пользоваться им, помимо своего собственного. У солдата *индельты* тоже есть свой *торп* – маленький домик, сад и небольшой земельный участок. *Индельта* – это поселенная армия, созданная Карлом XI и великолепно организованная, подобной которой нет ни в одной стране. (Примеч. автора.)

держивается патриархальных нравов и мало что значит. Крестьянин ничто, а король – и того меньше. Когда дворянин богат, что, по счастью, бывает редко, он держит в руках все судьбы своего края, тогда он вертит людьми и делами по своему усмотрению и нередко ведет их к гибели. Знайте же, что если бы мы, молодые офицеры, проявили непочтительность к владетельному барону Вальдемора, мы, конечно, не лишились бы своего воинского звания, – чтобы лишиться его, надобно совершить преступление, – но были бы вынуждены терпеть неслыханные преследования, покинуть свои квартиры, дома, отказаться от всего, чем мы владеем, от наших привязанностей и отправиться в обычный гарнизон, несмотря на несокрушимые права *индельты*.

Еще двое молодых офицеров вошли покурить, и Кристиано решился спросить у них, не появилась ли графиня Эльфрида.

– Каков молодчик! – отвечал один из них. – Вы не заставите, однако, нас поверить, что вас интересует сварливая графиня Эльведа! Но да будет вам известно, что ее миленькая племянница исчезла одновременно с вами и что тетка заверяла, будто она сильно покалечилась.

– Почему вы говорите, что она *исчезла*? – воскликнул Кристиано, безотчетно ужаснувшись этому слову.

– Послушайте! – вскричал майор. – Вы уже испугались за свою красавицу, дорогой Гёфле?

– Позвольте, ничто все-таки не дает повода говорить в таком тоне о графине Маргарите. Она красива, это верно, но, к моему великому сожалению, она ни в коей мере не *моя*.

– Я не хотел сказать ничего плохого, – стал оправдываться Осмунд, – я только видел, как все, что вам была оказана честь первого контрданса и что вы мило беседовали. Если вы в нее не влюблены, то, ей-богу, напрасно; а если у нее нет к вам некоторой склонности, то и это напрасно, – всем нам вы кажетесь чудным товарищем.

– А я считаю, что напрасным трудом было бы заглядываться с вождением на звезду, слишком высоко стоящую над моим горизонтом.

– Ба! Оттого, что у вас нет титула? Но ваша семья получила право дворянства, а ваш дядюшка адвокат, образец таланта и характера. Сверх того, он, по меньшей мере, столь же богат, как красавица Маргарита, и она не вечно будет под опекой. Любовь побеждает все преграды, а если есть несносные родственники, то можно обвенчаться тайно. В нашей стране такой брак столь же священен, как всякий другой. Итак, если вы решите попытать счастья, мы готовы вам помочь.

– Помочь? В чем? – смеясь, спросил Кристиано.

– Немедля получить свидание потихоньку от тетки. Итак, друзья, что вы на это скажете? Нас четверо добровольцев! Я даже знаю, где покои графини. Мы сейчас же туда пойдем. Если мадемуазель Потен испугается, мы наговорим ей комплиментов, которых она к тому же заслуживает, ибо это очаровательная женщина! А если какая-нибудь горничная вскрикнет, мы ее поцелуем и наобещаем ленточек в косы... Потом мы потребуем для Христиана Гёфле серьезного разговора по просьбе его дядюшки Гёфле... Важное сообщение! Гм? Вот именно. Нас вводят, без наших трубок, разумеется, в маленькую гостиную, где мы важно усаживаемся в сторонке, пока Христиан Гёфле шепотом предлагает свое сердце *alla diva contessina*<sup>6</sup> или, если он слишком робок для объяснений в любви, то он только слегка о ней намекнет, а заодно осведомится о том, какие опасности грозят его несравненной, и обсудит с ней, как от них уберечься. Я не смеюсь, господа! Совершенно очевидно, что госпожа Эльведа хочет насильно выдать свою племянницу замуж, а коварный Олаус пытается ее скомпрометировать, чтобы устранить любого соперника. Великолепный предлог для человека, который в разгаре бала стал на защиту жертвы этой отвратительной и нелепой сделки. Идемте, Христиан, идемте, господа,

---

<sup>6</sup> Божественной графине (*ит.*).

решено? Эх, черт возьми, долг платежом красен! В другой раз вы, Христиан, поможете нам в честных намерениях; так принято у молодежи. Что бы мы делали, если бы не вполне доверяли друг другу? Итак, вперед! На штурм твердыни! Кто меня любит, следуй за мной!

Все поднялись, и даже Кристиано, пришедший в восторг от этого предложения, но на пороге гостиной он остановился и остановил остальных.

– Спасибо, господа, – сказал он им, – и знайте, что в случае необходимости я брошусь за вас в огонь, только не пристало мне вписывать в свою жизнь эту нежную главу романа. Ничто в поведении графини Маргариты не дает мне права брать ее под защиту, как я это сделал, поддавшись необдуманному порыву возмущения, и ничто не дает мне надежды на ее благодарность. Быть может, все это как раз наоборот, и адвокату Гёфле следует защищать ее от всех посягательств, разъяснив графине ее права. Лучшее, что я могу сделать, раз уж моя прелестная партнерша не хочет танцевать, а мой свирепый соперник не хочет драться, это пойти спать, в чем я очень нуждаюсь, – я на ногах уже более суток.

Все одобрили слова Кристиано и громогласно объявили, что он человек благородный. Его пытались удержать и заставить выпить вина, думая, что перед таким соблазном ему не устоять, но Кристиано был воздержан, как вообще жители теплых стран. Была глубокая ночь, и он счел благоразумным покончить с комедией, которую играл до сих пор с таким успехом. Он пожал всем руки и откланялся, но обещал возвратиться к завтраку, в душе, однако, решив этого не делать. И, не дав расспросить себя о том, в какой части замка он расположился, и храня полную тайну, он проворно возвратился к себе тропкой по льду озера.

Кристиано намеренно позабыл Локи и бросил сани доктора прав в новом замке. Он опасался, что его услышат и выследят. Он шел краем берега до тех пор, покуда не забрел так далеко, что его нельзя было видеть из окон замка, и достиг ворот Стольборга, которые он оставил открытыми и которые ни Ульфилу, ни кому-либо другому не пришлось в голову запереть.

Ему пришлось принять эти меры предосторожности, ибо бледный свет луны сменился мерцающим, но ослепительным светом чудесного северного сияния: я сказал – чудесного, ибо таким оно было в тех краях, тогда как в северных широтах Балтики оно выглядит очень обыкновенно; должно быть, в это мгновение оно сияло очень ярко на севере и осветило всю местность вокруг застывшего озера. Снега, окрашенные в изменчивые тона, отливали красным и голубым бесподобного сказочного оттенка, и Кристиано, прежде чем войти в медвежью комнату, постоял несколько минут за воротами двора; несмотря на холод и безлюдье, он не в силах был оторваться от этого необыкновенного зрелища.

## V

Было уже восемь часов утра, когда Гёфле проснулся. Должно быть, он спал не так хорошо, как обычно, так как любил вставать рано, и сам устыдился, что в такой поздний час он еще в постели. По правде сказать, он рассчитывал, что маленький Нильс разбудит его, но Нильс спал сладким сном и мерно похрапывал, и Гёфле, после тщетных попыток вразумить его, решил дать ему выспаться вволю. Он уже давно перестал сердиться на мальчика, которого взял в лакеи, он просто махнул на него рукой. Смирившись, он сам развел огонь и, будучи человеком методическим, при свете свечи, которая, казалось, дремала стоя, побрился и расчесал парик так хорошо и тщательно, как если бы располагал для этого всеми необходимыми удобствами. Наконец, когда утренний туалет был закончен настолько, что оставалось лишь надеть кафтан, если понадобится, он завел часы, взглянул на небо, где не брезжило ни малейшего утреннего луча, накинул халат и, открыв обе створки двери, счел долгом пойти приготовить все в своей гостиной (в медвежьей комнате), чтобы поработать в тепле и покое до самого завтрака.

Но когда он подошел к печке, заслоняя рукою дрожащее пламя свечи, он вздрогнул: прямо перед ним в глубоком кресле лежал человек. Голова его была откинута на спинку с подушечками, ноги вытянуты и засунуты в отдушину, открытую под топкой погасшей печи, хранившей еще остатки тепла.

«Ну и спит же! Какой красавец! – подумал адвокат, остановившись и любуясь ровным и глубоким сном Кристиано. – Какой-нибудь баловень семьи, вынужденный, как я сам, искать здесь, в Стольборге, прибежище от шума и суматохи нового замка. А я-то уж думал, что здесь, в этом проклятом месте, я буду в одиночестве. Но ничего не поделаешь, придется примириться с тем, что у меня есть сосед. По счастью, лицо у него славное. Бедный малый очень скромный, он постарался не шуметь и даже не искал ложа поудобнее этого кресла, где он, наверное, все бока себе отлежал!»

Гёфле слегка коснулся щеки Кристиано, который сделал движение, точно отгоняя муху, и даже не проснулся.

«По крайней мере, холодно ему не было, – рассуждал сам с собой адвокат, – у него хорошая шуба, совсем как моя. Да, точь-в-точь! Но где же моя? Ах! я все понимаю: он нашел ее на кресле и в нее укутался. Честное слово, правильно сделал. Я бы охотно и сам дал ему надеть ее, да вдобавок уступил бы ему вторую постель в своей комнате; господину Нильсу пришлось бы снизойти и поспать на диване. Можно лишь пожалеть о том, что этот милый юноша был чересчур скромный! Да, конечно, просто удивительно скромный. Это воспитанный молодой человек, сразу видно, и очень аккуратный; кафтан он на ночь снял: признак уравновешенной натуры. Интересно, чем занимается этот милый юноша? Черный кафтан... точь-в-точь мой парадный, похожий на него как две капли воды... да это и вправду мой, вот и платок, надушенный мускусом, из кармана торчит, и... А! Мое приглашение на бал ему, верно, пригодилось. И... мои белые перчатки? Где же мои белые перчатки? Фу ты, на полу? Ладно, им и там хорошо, они уже не первой свежести. Ну, ну, господин сонливец, вы вовсе не такой уж стыдливый, как мне показалось, смею даже заметить, вы человек бесцеремонный! Вы теряете чемоданы или не даете себе труда их раскрыть и залезаете без спросу в чужие! Такие шутки – привычное дело у молодежи, я знаю... Помнится, на одном бале в Христиании я всю ночь отплясывал в кафтане бедняги Стангстадиуса, который был вынужден пролежать это время в постели и даже весь следующий день, ибо я увлекся... Но что об этом говорить! Мы были молоды тогда, а теперь я уже не в том возрасте, чтобы позволить... другому... подобную шалость. Эй, сударь! Просыпайтесь и отдавайте мне мои штаны и шелковые чулки... Боже милостивый! Сколько петель он, верно, попускал отплясывая, скотина! А милостивый государь не изволит и глаз продрать!»

Углубившись в эти размышления, Гёфле добрался и до потрепанного платья, которое Кристиано бросил на другой стул, разморившись после бала. Вид поношенных штанов, потерятого венецианского плаща и тирольской шапочки с вострешенным шнуром погрузил Гёфле в пучину новых предположений. Итак, сей юноша с возвышенным челом и тонкими руками был всего лишь каким-то цыганом, поводырем ученого медведя, коробейником или бродячим певцом? Итальянский певец? Нет, лицо этого искателя приключений, без сомнения, принадлежало к типу жителей Далума. Какой-нибудь мошенник... может статься, очень уж ловкий? Нет. Кошелек Гёфле лежал нетронутый на дне чемодана, а выражение лица спящего говорило о его честности! И спал он действительно сном праведника.

Что подумать и на что решиться? Адвокат почесал в затылке. А что, если это незавидное одеяние было лишь средством, при помощи которого молодой человек неузнанным прошел по всей стране ради каких-нибудь донжуанских походов под балконом какой-нибудь прелестницы, находящейся проездом в новом замке? Но так как ни одно предположение не казалось удовлетворительным, Гёфле решил разбудить гостя, хорошенько тряхнув его несколько раз и выкрикивая над самым ухом: «Эй, эй, ну, ну, давай, приятель, вставай!» – и все прочие слова, которыми принято будить тех, кто чересчур уж заспался.

Наконец Кристиано открыл глаза, пристально посмотрел на Гёфле, не видя его, и снова сомкнул веки с поистине олимпийским спокойствием.

– Ага, все понятно, – пробормотал адвокат, – вот вы уже и снова отбыли в страну сновидений!

– Что такое? Разве северное сияние еще светит? – спросил полусонный Кристиано, по видимому, весь еще во власти радужных видений.

– Откуда взяться северному сиянию в такое время, – сказал Гёфле. – Сейчас солнце взойдет.

– Солнце? Кто говорит о солнце в разгаре бала? – пробормотал Кристиано тем особенным мягким голосом заспавшегося человека, который как будто умоляет и уговаривает, чтобы его оставили в покое.

– Да, да, бал, мой кафтан, солнце, мои штаны, северное сияние – все вполне логично, – проговорил Гёфле, – все это чудесно переплетается в ваших снах, мой милый друг, но мне бы хотелось услышать от вас нечто более разумное, и я буду вас тормозить до тех пор, пока вы не сможете получше произнести свою защитительную речь.

Покладистый Кристиано с невозмутимой кротостью позволял трясти себя. Засыпать на любых досках, будь то на море в любую погоду или на дороге в любой повозке, вошло у него в привычку, и оттого, что адвокат сердито его расталкивал, к нему приходило только приятное ощущение полного отдыха от всяких забот. Мало-помалу, однако, ему пришла мысль, что пора дать себе отчет в том, где он находится. Он вновь приоткрыл глаза, взглянул на печь, затем повернулся, чтобы осмотреть темные стены комнаты.

– Черт меня побери, – пробурчал он, – если я знаю, где нахожусь! Но что это меняет, в конце концов. Сегодня здесь, завтра там! Такова жизнь.

– Потрудитесь хотя бы узнать, с кем вы имеете дело.

Весьма довольный этим гордым вступлением, Гёфле ожидал увидеть изумление, ужас или смущение на лице виновного, но ожидания его были напрасны. Кристиано протер глаза, взглянул на него с улыбкой и сказал самым приветливым тоном:

– У вас славное лицо! Чего же вы от меня хотите?

– То есть как это чего я хочу? – возмущенно вскричал Гёфле. – Я хочу мою шубу, шапку, куртку, белье, сапоги – словом, все, что вы у меня забрали, чтобы принарядить и приукрасить свою персону!

– Что? Вы так думаете? Да это вам приснилось, мой друг! – произнес наш герой, приподнимаясь на своем кресле и удивленно глядя на весь заимствованный им гардероб.

Затем, рассмеявшись при довольно смутном еще воспоминании о своей проделке, он сказал:

– Честное слово, господин Гёфле, – конечно, я имею честь говорить с уважаемым и знаменитым господином Гёфле, не так ли?

– У меня есть все основания полагать это, сударь. А затем?

– А затем, – продолжал Кристиано, поднявшись окончательно и с безупречной вежливостью снимая шапочку доктора, – я должен принести вам тысячу извинений, признав при этом, что не заслужил и одного. Чего вы хотите, милостивый государь! Я молод и в эту минуту в большой нужде. Романтический замысел увлек меня ночью на бал, под рукой не нашлось другого приличного платья, кроме этого, вовремя посланного Провидением. Человек я чисто-плотный и вполне здоровый, и к тому же, если вам не захочется надевать ваше платье после того, как я его носил, то я уверен, что смогу завтра выкупить его у вас по цене, какую вы сами назначите.

– Здорово! Вы очень забавны. Вы что, принимаете меня за торговца платьем?

– Нет, конечно, но я буду в отчаянии, если меня примут за вора. Я к этому не привык.

– Черт возьми! Вижу, что вы честный малый... Взбалмошный – это да! Что толку сердиться, дело-то ведь сделано. Сразу видно, что вы ничем не болели, черт побери! Вы крепко скроены... Ну и шевелюра! Ах, любезный, узнаю запах моей пудры! Но каким ветром вас занесло на бал без приглашения, ведь ваше дорожное облачение свидетельствует...

– Что я не принадлежу к высшему обществу, не так ли? Договаривайте же, не так уж я щепетилен на этот счет.

– Собственно говоря, я просто не знаю! Дело совсем не в одежде. У вас очень аристократическая рука. Выкладываете все начистоту. Кто вы такой? Если тут роман, то я люблю романтические истории, а если тут тайна, ну что ж, ваше лицо мне нравится, и я обещаю быть скромным... Я ведь адвокат – этим все сказано.

– В вашей скромности, господин Гёфле, я не сомневаюсь, – сказал Кристиано, – к тому же в жизни моей нет таких тайн, которые я не мог бы поведать человеку умному и порядочному – такому, как вы. Но история моя длинновата, предупреждаю вас, а печь почти уже не греет. К тому же, по правде сказать, хоть я и изрядно поужинал вчера вечером, мне стоит только глаза открыть, как я чувствую голод; вот и сейчас у меня уже сосет под ложечкой...

– А как же я? – вскричал Гёфле. – Ведь я привык пить чай со сливками в постели, как только проснусь. Этот увалень Ульфил меня совсем забросил! На столе все то же самое, что было вечером.

– Благодаря мне, господин Гёфле, я ведь узнаю ветчину и рыбу, которые я прихватил на кухне этого Ульфа... Как там вы его назвали?

– Ульфом вместо Ульфила. Это очень хорошо. Здесь сокращают все имена, их делают односложными, опасаясь, видимо, чтобы, когда кличут людей, половина слова не замерзла в воздухе. Впрочем, если это вам я обязан вчерашним ужином, то из этого следует, что Ульф, о котором шла речь, дал бы мне умереть с голоду, да, да, в той самой комнате, где раз уже было нечто подобное. Этот негодяй, видно, хотел поддержать ее дурную славу, подвергнув меня этой пытке.

– Разве здесь баронесса Хильда умерла с голоду, господин Гёфле?

– Вы и об этом уже слыхали? Слава богу, все это басни. Но подумаем о завтраке. Я позову.

– Не трудитесь, господин Гёфле, Ульф придет. К тому же, если вам чего-то не хватает, я схожу и принесу. Чего уж лучше, если можно самому составить меню по выбору; только разве медвежий или кабаньих окорок, копченый язык и жареная дичь – все эти блюда, к которым вы едва прикоснулись вчера вечером, вам ничего не говорят поутру?

– Как же, говорят. И тут всего столько, что вдвоем не справиться. Ну что ж, раз стол накрыт, позавтракаем, а?

– Лучшего и не пожелаешь. Но позвольте мне найти укромный уголок, чтобы одеться, или, вернее, раздеться, ибо я все еще...

– В моем платье? Это я прекрасно вижу, черт возьми! Ну и оставайтесь в нем, раз уж оно на вас, только снимите шубу и надевайте опять кафтан, а не то вы задохнетесь, когда будете есть.

Кристиано начал с того, что наложил в печь дров, после чего, тщательно умыв лицо и руки в углу, вернулся и стал нарезать холодные блюда, проявляя при этом своего рода *maestria*<sup>7</sup>.

– Забавно, – заметил Гёфле, – у вас такие хорошие манеры, что во Франции вас бы сочли человеком вполне благовоспитанным, и, однако, ваш дорожный плащ...

– Свидетельствует о превратностях судьбы, но не о бедности, – спокойно отвечал путник. – Неделию назад я был отменно одет, так, что смело мог бы отправиться на бал.

– Возможно, – согласился Гёфле, усаживаясь и с большим усердием принимаясь за еду, – но так же вероятно, что вы мне сейчас преподнесете одну из тех историй, какие любят странствующие герои. Мне все равно, лишь бы было занимательно.

– Вот как, – улыбаясь, сказал Кристиано, – а на каком языке вы пожелаете, чтобы я вам рассказывал?

– Черт возьми! По-шведски, раз это ваш язык! Вы швед и к тому же далекарлиец, это сразу видно по вашему лицу.

– Однако я не швед, а скорее исландец.

– Скорее?.. Вы в этом уверены?

– Нисколько не уверен. Поэтому, поскольку латынь – язык универсальный, если угодно...

И Кристиано вполне свободно повел речь на изящной и правильной латыни.

– Очень хорошо, – одобрил адвокат, слушавший его дружелюбно и со вниманием, – но итальянское произношение немного мешает мне понимать вашу латынь.

– То же, пожалуй, может получиться с греческим и с немецким, – сказал Кристиано, начавший говорить на языке мертвом, а затем и на живом с той же легкостью и так же правильно, сопровождая свою безукоризненную речь цитатами, изобличавшими в нем человека, понаторевшего в древней и новой словесности.

– Браво! – воскликнул доктор. – Вы очень образованный человек, это видно. А французский вы тоже знаете?

– Французский и английский, по вашему усмотрению, – отвечал Кристиано, – меня всему этому учили, а я питал склонность к изучению языков.

– Ну ладно, рассказывайте по-французски, – решил Гёфле, который был не меньшим полиглотом, чем Кристиано. – Я люблю Италию, а Францию просто обожаю! Это наша союзница, и не все ли равно, полезная или нет; главное, что это полная противоположность русскому духу, который я ненавижу.

– Слава богу, я тоже противник русских с тех пор, как прибыл в Швецию, и в особенности после вчерашнего вечера; а теперь, господин доктор, прошу вас, не принимайте меня за педанта. Если я посмел прихвастнуть своими скромными познаниями перед профессором Лундского университета, то это только потому, что, заметив, как мастерски я резал ветчину, вы подумали, уж не какой-нибудь ли я бывший Фронтен<sup>[26]</sup> из хорошего дома, впавший в немилость и подыскивающий, кого бы лучше надуть.

– Надо же! А ведь вы угадали, каюсь: эта мысль пришла было мне в голову. Но теперь я вижу, что если вы и служили в хороших домах, то уж отнюдь не в качестве лакея.

– Боже ты мой, сударь, – сказал Кристиано, – что лакей, что учитель – невелика разница, ступенькой выше или ниже в глазах иных.

– Только не в Швеции, друг мой, черта с два! Нет, у нас дело обстоит не так.

---

<sup>7</sup> Искусство (*ut.*).

– Знаю, сударь: в вашей стране люди бескорыстно стремятся к серьезным знаниям, и нигде так достойно не поощряется развитие гуманитарных наук; но в других странах нередко...

На этом речь Кристиано была прервана приходом Ульфила, который принес завтрак и, увидев, что стол накрыт, остановился в изумлении.

– Вот видишь, невежа, – весело воскликнул Гёфле, угадавший причину его удивления, – мой кобольд прислуживал мне вместо тебя, и мне очень повезло, потому что вот уже около полусуток, как ты меня совершенно забросил.

Ульф попытался оправдаться; но накануне он весь вечер так усердно искал утешения в бутылке и мозг его настолько отяжелел, что ему трудно было отдать себе отчет в том, почему он покинул хозяина. Обычно Ульф чувствовал себя спокойно на рассвете, а когда вставало позднее зимнее солнце, он бывал не хуже и не лучше всех остальных. Обильные возлияния еще продолжали оказывать свое действие на оцепенелый ум, но так как это ничуть не мешало ему выполнять свои домашние обязанности с точностью машины, то состояние это не имело ничего обидного для других или опасного для него самого. Он флегматично пробормотал на своем далекарлийском наречии какие-то слова удивления, глядя на блюда, расставленные на столе, и на незнакомого человека, сидевшего рядом с доктором.

– Прислуживай этому господину так же, как мне, – сказал Гёфле, – это мой друг, с ним я охотно делю кров.

– Ну что же, сударь, – отвечал Ульф, – я ведь не против, но вот лошадь-то...

– Сам ты лошадь! – заорал Кристиано, который уже знал несколько слов по-далекарлийски и почувствовал, что ему грозит полное разоблачение.

– Да, сударь, я-то лошадь, – покорно согласился Ульф, – но вот сани...

– Что сани? – спросил доктор. – Ты их почистил? А лошадь?

Когда слово «лошадь» вторично долетело до слуха Кристиано, он повернулся к Ульфу и бросил на него украдкой столь устрашающий взгляд, что бедняга оторопел, совсем потерял голову и пробормотал заикаясь:

– Да, да, сударь мой, лошадка, саночки, – будьте покойны!

– Ну, так будем завтракать, – сказал доктор. – Принеси-ка табаку, Ульф, а чайник не трогай. Мы сами заварим чай.

Ульф склонился над печью, чтобы лучше поставить чайник. Кристиано подошел к нему совсем близко, словно собираясь проследить, как он справится, и, наклонясь и снова бросив на него устрашающий взгляд, сказал ему на ухо по-далекарлийски: «Лошадь, сани, новый замок, живо!» Ульфу представилось, что это распоряжение он уже получал, но с похмелья забыл его выполнить. Он наскоро пошел подвязывать коньки и побежал в новый замок разыскивать Локи в шумных конюшнях, где было множество конюхов и лошадей.

Доктор прав не был обжорой, не то что доктор наук Стангстадиус. Он действовал неторопливо, чтобы распробовать всякое блюдо и порассуждать о приложении основ поваренного искусства к возвышенным потребностям избранных желудков. После получасовой беседы на эту тему и ее практического применения они с Кристиано переглянулись и заметили друг у друга розовый отблеск на лицах.

– Наконец-то! – воскликнул Гёфле. – Вот и солнышко взошло на небе.

Он поглядел на часы.

– Без четверти десять, – сказал он, – эти часы из Муры<sup>[27]</sup> неплохо идут! Поглядите, они местного изделия. Наши далекарлийцы на все руки мастера: сами выделывают все необходимое, от наипростейшего до наиболее сложного... Но не гасите свечу, она нам пригодится закуривать; к тому же я люблю, когда зимой в помещении солнечный свет спорит с искусственным, мешая неясные и причудливые тона... Вот так штука! Бьют стенные часы! Вы, должно быть, завели их вчера вечером?

– Конечно. А вы не заметили этого?



– Ничего я не заметил. Я спал наяву или грезил. Может быть, мне приснилось и то, что я вошел сюда и поужинал! Не все ли равно! Чай вы умеете заваривать?

– Нет, зато кофе – в совершенстве.

– Ну, хорошо, готовьте кофе, а я беру на себя чай.

– Вы любите этот безвкусный и тоскливый напиток?

– Да, разбавив его на треть водкой или старым ромом.

– Ну, тогда другое дело. Меня восхищает, господин доктор, что нас обслуживают здесь не хуже, чем в Париже или Лондоне.

– А почему бы и нет? Мы ведь не на край света заехали. Мы в шести часах пути от берега Пруссии, где живут как в Париже.

– Да, но в провинциальной глуши, забравшись на шестьдесят или восемьдесят миль в глубь страны, и в таком бедном краю...

– Таким бедном! Вы полагаете, что страна бедна, потому что у нее неплодородная почва? Но вы забываете, что недра земли у нас побогаче ее поверхности и что далекарлийские рудники являются сокровищницей Швеции. Вы заметили, что эта область, примыкающая к Норвегии, мало населена, а из этого заключаете, что она не может быть населена гуще. Знайте же, что если бы государство могло и сумело получше за это взяться, то наших богатых залежей хватило бы на то, чтобы во сто раз увеличить достояние и численность жителей. Когда-нибудь, возможно, все пойдет лучше, если нам удастся вырваться из когтей Англии, опутывающей нас интригами, и из тисков России, сковывающей нас угрозами. А пока что знайте, мой мальчик: если на земле есть бедняки, то не по вине самой благодатной божьей земли, на которую клеветают, пользуясь невежеством, ленью и ложными представлениями ее обитателей. Здесь сетуют на суровую зиму и на твердые скалы; но сердце земли горячо! Стоит лишь спуститься в ее недра – повсюду, да, повсюду, ручаюсь вам, найдется драгоценный металл, разветвляющийся у нас под ногами бесчисленными радужными жилами. На свои металлы мы могли бы скупить все ценности, всю роскошь, все, что производит Европа, если бы только у нас хватило рук, чтобы доставить наши сокровища на поверхность земли. Люди жалуются на землю, а не хватает только рабочих рук! Скорее земля могла бы на нас пожаловаться!

– Боже меня упаси осуждать Швецию, дорогой господин Гёфле. Я только сказал, что огромные пространства пустыни и невозделанны и что здешние жители настолько умеренны, что для путника у них не найдется ничего, кроме каши и молока – пищи, без сомнения, здоровой, но не способствующей тому, чтобы воспламенить воображение и закалить волю.

– Вот и тут вы глубоко ошибаетесь, дорогой мой! Эти места можно по праву назвать головой и сердцем Швеции, головой восторженной, полной причудливых вымыслов и возвышенных или нежных грез, сердцем пылким и щедрым, в котором бьется любовь к отчизне. Вы ведь знакомы с историей страны?

– Да, да! Густав Ваза<sup>[28]</sup>, Густав-Адольф<sup>[29]</sup>, Карл Двенадцатый<sup>[30]</sup> – все герои Швеции искали людей в глубинах этих гор, тогда как остальная часть нации погрязала в рабстве или пороках. В этом прославленном уголке земли, в этой северной Гельвеции<sup>[31]</sup> и отыскивалась во все переломные эпохи вера и твердая воля, спасавшие родину.

– Что ж, в добрый час! Так согласитесь же, что овсяная похлебка и бесплодные обледенелые скалы могут породить и вскормить поэтов и героев.

Рассуждая так, доктор прав плотнее запахнулся в мягкую ватную душегрейку и подлил в горячий и очень сладкий чай полфляги первосортного рома. Кристиано наслаждался превосходным кофе, и оба принялись смеяться над собственным восхищением горной стужей и кашею бедняков.

– Ах, все дело ведь в том, – сказал Гёфле, становясь серьезным, – что мы вырожденцы. Нам нужны возбуждающие средства, наркотики. Вот это и доказывает, что самый способный

и знаменитый из нас не стоит последнего крестьянина здешних диких гор! Но посмотрим, принесет ли нам табачку эта скотина Ульфил! Совсем неотесанный парень.

Кристиано снова рассмеялся, а Гёфле, убедившись, что его похвалы умеренности и сдержанности сейчас неуместны, успокоился, увидев перед собой табачницу. Ульф принес ее механически, по привычке, но по своей крайней нерасторопности не успел об этом сказать.

– Ну что ж, – сказал Гёфле, откинувшись в кресле поудобнее, для лучшего пищеварения, раскуривая превосходную турецкую трубку, чубук которой упирался в выступ печи, покуда Кристиано, поминутно то вставая, то присаживаясь, то устраиваясь верхом на стуле, покуривал походную трубочку, торопливо и не очень сосредоточенно. – Ну вот, мой загадочный приятель, расскажите-ка, если это возможно, о себе всю правду.

– Итак, – начал Кристиано, – я зовусь, вернее – меня называют, Кристиано дель Лаго.

– Кристиано или Кристиан Озерный? Откуда такое романтическое имя?

– Ах, вот в этом-то и дело. «Chi lo sa?»<sup>8</sup>, как у нас говорится. Это целый роман, где, верно, нет ни словечка правды. Я вам все передам так, как мне самому это рассказывали.

В неизвестных мне краях, на берегу озера, малого или большого, чье название мне неизвестно, у некой дамы – уродливой или красивой, богатой или бедной, благородной или из простых, – в законной любви или при достойных сожаления обстоятельствах родился ребенок, чье появление, по-видимому, совершенно необходимо было скрыть. С помощью веревки и корзины (эта подробность точна) сама ли дама или ее верная служанка спустили бедного новорожденного в лодку, находившуюся там случайно или по таинственному уговору. Никто не мог мне сообщить, что случилось с дамой, да и где бы я мог об этом узнать? Что до ребенка, то его потихоньку унесли неизвестно куда и вскормили не знаю как до той поры, когда его можно было отнять от груди, и тогда он был опять увезен неизвестно кем в другую страну...

– Неизвестно какую! – смеясь подхватил Гёфле. – Сведения довольно-таки неопределенные, и я затруднился бы на основании их помочь вам выиграть ваше дело!

– Мое дело?

– Да; вам ведь, вероятно, приходило в голову судиться, чтобы вернуть себе имя, права, наследство?

– Будьте покойны, господин Гёфле, – возразил Кристиано, – вам никогда не придется вести мое дело. Меня еще не обуяло безумие, общее всем проходимцам таинственного происхождения, которые лишь в крайнем случае снисходят до того, что согласны признать себя королевскими сыновьями, и всю жизнь скитаются по белу свету в поисках своей знаменитой семьи, ни разу не подумав, что сами они своим появлением лишь стеснили бы эту семью и не доставили бы ей ни малейшей радости. Что до меня, то если даже я и происхожу из знатного рода, то я этого не знаю, и меня это несколько не интересует. Это безразличие разделяли со мною, или, вернее, внушили мне, мои приемные родители.

– А кто были ваши приемные родители?

– Я не знаю и не помню ни тех, кто из окна принял меня в лодку, ни тех, кто отдал меня кормилице, ни тех, кто отвез меня в Италию, – об этих людях я ничего не смогу вам сказать; может быть, это была все та же семья или все то же лицо. Я знал только своих истинных приемных родителей – синьора Гоффреди, антиквара и профессора древней истории в Перудже, и его прекрасную жену Софию Гоффреди, которую я любил как родную мать.

– Но откуда и от кого достойные супруги Гоффреди приняли вас на хранение? Они должны были вам это сказать...

– Они и сами того не знали. У них было небольшое состояние, и, не имея детей, они неоднократно выражали желание усыновить какого-нибудь сироту. И вот однажды вечером в дни карнавала перед ними появился человек в маске, вынул из-под плаща существо, которое

---

<sup>8</sup> Кто знает? (ит.)

имеет честь сейчас беседовать с вами, и не мог ничего о нем рассказать, ибо говорил он на языке, которого никто не понимал.

– Но все-таки, – продолжал адвокат, слушавший рассказ так внимательно, точно ему предстояло расследовать судебное дело, – что же все-таки сказал человек в маске, вручая вас профессору Гоффреди и его жене?

– Вот слово в слово то, что было мне сказано: «Я пришел издалека! Я беден и был вынужден издержать в пути часть средств, доверенных мне вместе с ребенком. Я считал, что должен был так поступить, получив приказ увезти его далеко, очень далеко от его и от моей родины. Вот оставшиеся деньги. Мне стало известно, что вы хотите усыновить ребенка, и я знаю, что в вашей семье он будет счастлив и получит хорошее образование. Хотите взять бедного сиротку?»

– И профессор согласился?

– Он принял ребенка и отказался от денег. «Если я беру ребенка на воспитание, – сказал он, – то лишь для того, чтобы сделать ему добро, а не для того, чтобы воспользоваться его добром».

– И он не полюбопытствовал расспросить?..

– Он мог спросить только об одном, а именно, не придет ли кто потребовать ребенка, ибо он хотел бы получить его навсегда и боялся, что привяжется к нему, а потом в один прекрасный день его вдруг отнимут. Незнакомец поклялся, что никогда никто за мной не придет, а в доказательство сказал: «Я привез его из дальних краев, находящихся более чем в пятистах милях отсюда, чтобы самый след затерялся навеки. Ребенок подвергся бы большой опасности, может быть, даже и здесь, если бы стало известно, где он находится. Поэтому не задавайте мне вопросов, отвечать я не стану». И он настоял на том, чтобы у него взяли небольшую сумму денег, каких-нибудь две-три сотни цехинов.

– В итальянской монете?

– В иностранных золотых монетах самых различных стран, как будто незнакомец проехал всю Европу и задался целью наменять деньги монетой самых различных государств, чтобы пресечь всевозможные поиски и догадки.

Ему возразили, сказав, что он человек бедный – он сам в этом признался, да и по виду его нельзя было ошибиться. Справедливо было бы возместить ему расходы за время долгого пути и труда, связанного с неукоснительным выполнением приказа, касающегося моего удаления, но он отказался от этого предложения с суровым упорством. Он исчез внезапно, обещав, чтобы избежать расспросов, что на следующий день еще вернется. Однако он не вернулся; его больше никогда не видели; о нем больше никто не слыхал, а я оказался доверенным, точнее – подброшенным, слава богу, господину и госпоже Гоффреди, которые обо мне и позаботились.

– Ну, а вся эта история с озером, окном и лодкой, ее-то вы, черт побери, откуда взяли?

– Погодите! Когда мне минуло пять или шесть лет (мне, вероятно, было около четырех или пяти лет, когда я оказался в Перудже, спрятанный под плащом человека в маске), я откуда-то упал, и все думали, что я убится. Это был пустяк, но в числе друзей моей приемной семьи, пришедших справиться обо мне, проскользнул маленького роста еврей, не то крещеный, не то нет, ведший торговлю предметами искусства и антикварными вещами с иностранцами и обосновавшийся в Перудже. Мои родители не любили его за то, что он еврей, а в Италии, как и здесь, сильно недолюбливают это племя. Он заботливо обо мне расспрашивал и даже просил, чтобы меня ему показали, желая убедиться, в каком я состоянии.

Год спустя мы проводили лето в деревне, и вот, как только мы вернулись в город, он явился опять затем, чтобы справиться обо мне и поглядеть своими глазами, вырос ли я и в добром ли здравии. Это всех удивило, и его спросили, почему он так интересуется мною, пригрозив отказать ему от дома, если он не даст удовлетворительного объяснения своему поведению, ибо к тому времени меня уже полюбили и боялись, как бы этот еврей не выкрал меня.

Тогда он признался – или же просто придумал, что ему случилось приютить человека в маске в тот день, когда тот привез меня в город, и удалось вырвать у него несколько признаний, касающихся меня. Эти смутные, неправдоподобные и невразумительные сведения я вам уже сообщил в начале своей истории, да, быть может, им и не следует придавать никакой веры. Мою приемную мать они только забавляли. Однако найдя в этом приключении нечто романтическое, она дала мне прозвище дель Лаго, которое долго было моим настоящим именем.

– Но ваше имя Христиан, Кристиан, Кристиерн, Кретъен или Кристиано, кто вам его дал?

– Человек в маске, не добавив никакого иного.

– Человек этот говорил по-итальянски?

– Плохо, и то, что он объяснялся на этом языке с трудом, немало способствовало окружавшей меня таинственности.

– А какой у него был акцент?

– Профессор Гоффреди занимался только мертвыми языками; его жена, также весьма образованная женщина, знала много живых языков. Однако ей не удалось определить, к какой национальности можно было отнести акцент человека в маске.

– А еврей что об этом думал?

– Если он что и думал, то не пожелал об этом сказать.

– А ваши родители были вполне уверены, что он сам не взял на себя роль человека в маске?

– Вполне уверены. Человек в маске был довольно высок, а еврей был меньше пяти футов ростом. Ни его голос, ни выговор не имели ничего общего с тем незнакомцем. Я вижу, господин Гёфле, что вы, как и мои бедные Гоффреди, задаете себе всевозможные вопросы на мой счет; но скажите мне, пожалуйста, какое все это может иметь значение?

– Да, в самом деле, какое? – ответил Гёфле. – Вы, может быть, и не стоите того, а я вот уже целый час ломаю себе голову, как вам помочь найти свою семью. Видите ли, эта забота моя связана с профессиональной привычкой. Не будем пока что об этом говорить, тем более что во всем, что вы мне сказали, нет ни одного точного факта и не на чем построить сложную систему научных и хитроумных выводов. Однако постойте. Что сделали с деньгами, принесенными человеком в маске?

– Мои родители, полагая, что деньги эти, быть может, плата за похищение или еще за какое-либо преступление и что счастья они мне не принесут, поспешили пожертвовать все эти чужеземные монеты в фонд неимущих при Перуджинском соборе.

– Но вы сами уже говорили на каком-то языке, когда вас привезли?

– Конечно; только я скоро его позабыл, так как мне не с кем было на нем разговаривать. Помню только, что год спустя какой-то немецкий ученый, навестивший нас, пытался пролить свет на эту тайну. Мне с большим трудом удалось вспомнить несколько слов моего родного языка. Языковед заявил, что это какой-то северный диалект и что-то похожее на исландский; однако мои черные волосы не подтверждали этой версии. Так и не стали допытываться до истины. Моя приемная мать хотела, чтобы я утратил всякое воспоминание о моей прежней родине и о прежней семье. Вы понимаете, что она без труда этого достигла.

– Еще один вопрос, – сказал Гёфле, – мне интересно слушать только тогда, когда я понимаю, что служит отправной точкой рассказа. Ваши воспоминания, естественно, стерлись, да и окружающие постарались заставить вас их позабыть, и все же, неужели у вас ничего не осталось в памяти?

– У меня осталось что-то такое смутное, что я не сумею отличить эти воспоминания от снов. Мне видится странный дикий край, еще более величественный, чем здешний.

– Холодная страна?

– Об этом я ничего не знаю. Дети не ощущают холода, а я никогда не был зябликом.

– А что еще вы видите в этом сне? Солнце или снега?

– Не знаю. Большущие деревья, стада, может быть, коров...

– Большие деревья – это уже не Исландия. А от путешествия, приведшего вас в Италию, что у вас осталось?

– Ровно ничего. Мне кажется, что мой спутник или спутники были мне незнакомы до отъезда.

– Тогда продолжайте вашу историю.

– То есть я ее начну, господин Гёфле, ибо до сих пор я мог только говорить о загадочных обстоятельствах, которые, как говорят поэты, окружали *мою колыбель*. Повесть о своей жизни я начну с первого поразившего меня отчетливого воспоминания. Воспоминание это, не ужасайтесь, господин Гёфле, связано с каким-то ослом.

– С ослом? Четвероногим или двуногим?

– С самым настоящим ослом о четырех ногах, с ослом во плоти и крови; это было любимое животное Софии Гоффреди, и звали его Нино, уменьшительное от Джованни. Так вот, я был так к нему привязан, что назвал Жаном осла, который сейчас мне служит для перевозки клади, в память о том, кто доставил мне первые детские радости.

– Ах, так у вас есть ослик? Уж не тот ли, что посетил меня вчера вечером?

– Так, значит, это вы велели отвести его в конюшню?

– Вот именно. Вы, видно, любите ослов?

– По-братски... И я уже целых полчаса думаю, что мой ослик, может быть, остался без завтрака... Ульф мог его испугаться, он его мог и из замка выгнать. Несчастный сейчас, может быть, бродит где-нибудь во льдах и снегах, и лишь равнодушное эхо вторит его жалобным крикам! Прошу вас, извините меня, господин Гёфле, но я непременно должен на минутку вас покинуть, чтобы справиться о судьбе моего осла.

– Чудак! – воскликнул Гёфле. – Ну, конечно же, сходите поскорее, да заодно взгляните на моего конягу, который вполне стоит вашего осла, не в обиду вам будь сказано. Но что же, вы так и побежите в конюшню в моем кафтане и в шелковых чулках?

– Да я мигом!

– Вовсе нет, вовсе нет, мой мальчик. К тому же вы простудитесь. Наденьте-ка мои меховые сапоги и шубу; ступайте скорее и поскорей возвращайтесь!

Кристиано повиновался с благодарностью; он нашел Жана в самом лучшем настроении, кашлял он уже куда меньше, чем накануне, и закусывал в обществе Локи, которого Ульф как раз привел из нового замка.

Ульф с ужасом смотрел на осла: хмель помаленьку проходил, и его мучило подозрение, что животное, которое он утром кормил, не было лошадьё. Кристиано уже накануне вечером, промышляя себе ужин, понял, с каким суеверным трусом имеет дело, и разыграл перед ним по-итальянски необычную пантомиму с устрашающими жестами и взглядами, не скупясь на фантастические угрозы в случае, если он неуважительно отнесется к ослу, которого следует чтить как мифическое божество. Испуганный Ульф удалился, отвесив поклон ослу и его хозяйину, охваченный самыми несуразными мыслями, которые под влиянием ночных возлияний порождали новые страхи и все более и более странные предположения.

– Итак, – заявил Кристиано, снова принимаясь за трубку и за прерванное повествование и сидя верхом на все том же стуле, – осел госпожи Гоффреди стал моим лучшим другом. Мне казалось, что ни у одного осла на свете не было столь красивых ушей, ни столь приятной походки. Ах, господин Гёфле, дело в том, что когда впервые его размеренная поступь и длинные уши привлекли внимание моего сонного мозга, меня инстинктивно поразило прекраснейшее в мире зрелище. Это было на берегу озера: озёра, видите ли, играют важную роль в моей жизни. И что за озеро, сударь, Перуджинское озеро, иначе говоря, Тразименское. Вы никогда не бывали в Италии, господин Гёфле?

– Нет, к величайшему моему сожалению; но что касается озер, то у нас в Швеции есть такие озера, перед которыми итальянские покажутся просто лужами.

– Я не скажу ничего худого о ваших озерах; я уже не одно из них видел. Должно быть, они хороши летом. В зимнюю пору, со своими *мьялями* (ведь так вы зовете огромные песчаные оползни, заполняющие берег зелеными деревьями и странными глыбами, оторвавшись от скал), согласен с вами, они совершенно необыкновенны. Инсей и лед, сковывающий эти причудливые формы, превращают любую былинку в бриллиантовую гирлянду. А запутанное переплетение корней можно принять за искусную стеклянную пряжу без конца и края; все это залито багряным солнечным светом; зубчатые края гор сияют сверху, как сапфирные иглы в утреннем пурпуре... Да, признаюсь, здешняя природа величественна, а вид из моего окна ослепителен; но он ослепляет меня, и именно против этого я и хочу возразить. Он возвышает меня, возносит меня над самим собою... Восторг, разумеется, значит очень много, но неужели в этом вся жизнь? Неужели нет у людей огромной потребности в отдыхе, в бездумном созерцании и упоительно нежном мечтательном состоянии, называемом у нас *farniente*<sup>9</sup>? Так вот, там, на Тразименском озере, чувствуешь, что живешь чудесной безмятежной жизнью. Там я мирно рос, не зная мучительных переживаний, как соломинка, занесенная из невесть какой безвестной страны на эти благодатные солнечные берега, под светлую сень старых олив, словно вечно купающихся в теплом золотистом потоке!

У нас был (увы, я говорю у нас) загородный домик, *villétta*<sup>10</sup> на берегу ручья, который зовется *Сангвинето*, что значит *Кровавый* ручей, в память как будто о пролитой крови, обогрившей эту равнину в знаменитой Тразименской битве<sup>[32]</sup>. Мы проводили все теплое время года в этом оазисе, исполненном сельских радостей. Ручьи больше не приносят трупов, и волны Сангвинето прозрачны, как кристалл. И, однако, мой приемный отец был поглощен одной-единственной заботой – выискивать кости, медали и остатки доспехов, которые и по сей день еще можно найти в большом количестве в траве и цветах по берегам озера. Жена его обожала (и было за что), она повсюду сопровождала его, а я, толстый беспечный мальчишка, на которого тоже распространялось обожание, валялся на теплом песочке или мечтал, покачиваясь под мерный шаг *Нино*, на коленях у моей милой матушки. Мало-помалу я увидел и понял, до чего чудесны в этой прелестной стране и дни и ночи. Озеро очень велико, не потому, что по размерам своим оно достигает самого малого из ваших озер, но потому, что величие – понятие совершенно иное, нежели протяженность; чаша его так обширна, окружающая природа столь отрадна для глаз, что светящиеся глубины навевают мысли о бесконечности. Не могу вспомнить без волнения восходы и закаты солнца на этой зеркальной глади, отражавшей холмы с большими деревьями, с округлыми и могучими стволами, и далекие белоснежные островки среди розовеющих волн. А по ночам мириады звезд дрожали в этих тихих водах, не расплываясь и не сталкиваясь друг с другом! Какие нежные ароматы веяли по серебристым холмам и какие таинственные созвучия струились вдоль берегов, когда вся огромная масса воды слегка колебалась, точно боясь потревожить спящие цветы! У вас, согласитесь, господин Гёфле, природа неистова даже зимой, когда она предается покою. Все в ваших горах носит след непрестанных и разрушительных весенних и осенних бурь. Там же любой клочок земли уверен, что надолго сохранит свои очертания, и любое растение спокойно развивается на почве, его взрастившей. Там с самым воздухом как бы вдыхаешь сладость бытия, и извечное блаженство природы проникает в душу, не смущая ее покоя и не будоража ее.

– У вас есть поэтическая жилка, вы умеете видеть, – сказал Гёфле, – но разве жители этих благодатных краев не прозябают в грязи, лени и по собственной вине не обрекают себя на нищенское существование?

<sup>9</sup> Ничего неделанием (*ит.*).

<sup>10</sup> Маленькая вилла (*ит.*).

– Во всякой нищете половина вины ложится на правителей, а половина на тех, кем правят; зло не бывает односторонним. Вот поэтому и получается, я думаю, что добра не наживешь; но в теплых краях нищета, порожденная ленью, находит оправдание в неге созерцательной жизни. Еще юношей я живо ощутил пьянящую прелесть южной природы и тем более ее оценил, что почувствовал в себе приступы лихорадочной деятельности, словно я и на самом деле родился за пятьсот миль от тех мест, в какой-то холодной стране, где дух более властен над материей.

– Выходит, вас нельзя было назвать ленивым?

– Мне кажется, что я несколько не был ленив: ведь родители мои хотели сделать из меня ученого, и из любви к ним я усердно трудился, чтобы получить образование. Однако я чувствовал влечение к естественным наукам, а также к живописи и к философии гораздо больше, чем к тщательным и кропотливым изысканиям ученого мужа Гоффреды. Его усилия казались мне почти что праздными, и я не способен был прийти в безудержную радость оттого, что нам удавалось определить назначение древнего камня или разобрать смысл этрусской надписи. Он, впрочем, вовсе не мешал мне развивать мои природные способности и создал мне самое отрадное существование, какое только можно вообразить. Здесь я должен остановиться на некоторых подробностях этого периода жизни, где на рубеже детства и юности я почувствовал пробуждение своих духовных сил.

Перуджа – город университетский и исполненный поэзии, один из прекраснейших и учнейших городов старой Италии. Там по желанию можно стать ученым или художником. Она богата древностями и памятниками всех эпох, там прекрасные библиотеки, академия художеств, частные собрания и т. п. Город чрезвычайно красив и живописен; он насчитывает более сотни церквей и пятидесяти монастырей, изобилующих картинами, рукописями и т. п. Замечательна Соборная площадь: там, напротив пышного готического собора, фонтана работы Джованни Пизано<sup>[33]</sup>, подлинного шедевра, и других памятников различных эпох высится большой дворец в венецианском стиле. Это странное и гордое здание тринадцатого или четырнадцатого века, темно-красное, отделанное черными коваными украшениями, с окнами, пробитыми в причудливой беспорядочности, которую стали презирать после того, как с началом Возрождения утвердились правильные линии и чистота вкуса.

Я страстно полюбил трагический облик древнего палаццо, к которому Гоффреды относились пренебрежительно, считая, что здание это принадлежит к эпохе варварства; он ценил только античность и те века нового времени, которые вдохновлялись античностью. На меня, признаюсь вам открыто, все эти похожие друг на друга шедевры, старые и новые, наводили страшную скуку, которая брала верх над чувством восхищения. Это нарочитое стремление Италии возвратиться к своим первоисточникам и вычеркнуть те эпохи, где проявилось истинное ее лицо, между абсолютизмом императоров и абсолютизмом пап, настолько укоренилось в обществе, что тот, кто по горло сыт этим чрезмерным совершенством, непременно прослывет вандалом<sup>11</sup>.

Я был чистосердечен и непосредствен. Мне не раз доставалось за мою любовь ко всему, что без особенного разбору называли *gotico*<sup>12</sup>, иначе говоря – ко всему, что не принадлежало к веку Перикла, Августа или Рафаэля. Даже этого последнего мой приемный отец признавал с трудом. Он восхищался лишь развалинами Рима и, приведя меня к ним, был удивлен и раздосадован, услышав, что там я не нашел ничего, что могло бы заставить меня позабыть истинные величественную фантастичность и картинность нашей *piazza del Duomo*<sup>13</sup> с огромным

<sup>11</sup> И сейчас еще этому подвержены очень многие. Как прошлое столетие, так и начало нынешнего отмечены всеобщим презрением ко всему средневековому. (Примеч. автора.)

<sup>12</sup> Готическим (ит.).

<sup>13</sup> Соборной площади (ит.).

черно-красным дворцом, средоточием самого разнообразного великолепия, и извилистыми улочками, внезапно устремляющимися как бы таинственно и почти трагически под темные аркады.

Мне было тогда лет пятнадцать-шестнадцать, и я мог уже разобраться в своих мыслях и склонностях. Я сумел изложить моему отцу свое стремление к полнейшей независимости в области вкусов и чувств. Я ощущал потребность восторгаться, испытывать духовное наслаждение при виде любого взлета человеческого гения и воплощения его пытливой мысли; я не в силах был сковать свои чувства, ограничив их некой системой, некой эпохой, некой школой. Словом, мне хотелось объять весь мир, восславить Бога и искру Божию, дарованную людям во всех творениях искусства и природы.

«Вот потому-то, – говорил я ему, – я люблю ясное солнце и темную ночь нашего сурового Перуджино, неистового Микеланджело, могучие римские фундаменты и тонкую мавританскую резьбу. Я люблю наше мирное Тразименское озеро и бурные пороги Терни<sup>[34]</sup>. Я люблю милых вашему сердцу этрусков и всех ваших превосходных греков и римлян, но я люблю также и греко-арабские соборы, и, наравне с величественным тревийским фонтаном, струйку воды, бегущую меж двух скал среди неведомых пустынных полей. Все новое кажется мне достойным любопытства и внимания, и мне близко все, что сумело овладеть моим сердцем и умом хотя бы на мгновение. Я склонен предаваться всему, что прекрасно и возвышенно, или даже только приятно и восхитительно, и поэтому меня страшат требования исключительного преклонения перед некими общепринятыми формами красоты.

Однако, если вы полагаете, – говорил я ему, – что я на дурной стезе и что потребность разностороннего развития в любом случае – опасное отклонение от правила, то постараюсь подавить в себе это и сосредоточиться на занятии, которое вы для меня изберете. Ибо прежде всего я хочу стать тем, чем вы хотите, чтобы я стал; только вы, отец мой, прежде чем подрезать мне крылья, внимательно взгляните, нет ли в этом суетном оперении чего-то, что стоит сохранить».



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

**1.**

Роман «Снеговик» впервые появился в журнале «Ревю де дё монд», где он печатался с 1 июня по 15 сентября 1858 года.

**2.**

...часы в стиле буль... – Буль Андре-Шарль (1642–1732) – французский художник и столяр, создатель особого стиля художественной мебели. Характерная особенность мебели в стиле буль – изящные инкрустации из меди, бронзы, черепахи и слоновой кости.

**3.**

...некая суровая и прилежная Парка... – Парками в римской мифологии назывались богини судьбы. Их представляли себе в виде старух, прядущих, а затем обрывающих нить человеческой жизни.

**4.**

Далекарлийская провинция – суровая холмистая область Средней Швеции. Жители Далекарлии традиционно считаются вольнолюбивыми и полными отваги.

**5.**

Адольф-Фридрих Гольштейн-Готторпский – герцог, впоследствии король Швеции Адольф-Фредрик (1751–1771), был избран риксдагом на шведский престол после смерти бездетного Фредрика I.

**6.**

Лапландия – северная часть Скандинавского и западная часть Кольского полуостровов, в прошлом населенных преимущественно народностью саами.

**7.**

...Лундский университет. – Лунд – старинный университетский город на юге Швеции.

**8.**

...Локи... Прометей скандинавских саг... – в скандинавской мифологии бог огня.

**9.**

...здесь поселились кобольды... – Кобольдами в германской мифологии назывались духи домашнего очага.

**10.**

Тролли – в скандинавских народных поверьях сверхъестественные существа, обычно враждебные людям.

**11.**

...фалунский пастор... – Фалун – город в Далекарлии. Знаменит главным образом медными рудниками. Здесь находится горная академия.

**12.**

Стрёмкарлы – водяные духи.

**13.**

...приходится блуждать по земле гипербореев. – Гипербореи – жители арктического пояса. В греческой мифологии так назывался сказочный народ, который жил в райской стране, вечно юный, не зная болезней и войн.

**14.**

Вермланд – область к северу от озера Венерн, самого большого озера Швеции, третьего по величине в Европе.

**15.**

Валькирии – в германской мифологии воинствующие девы, по воле старшего из богов Одина дарующие победу в битве.

**16.**

Гаральд – в Средневековье традиционное имя многих датских и норвежских королей.

**17.**

Христина – королева Швеции (1632–1654).

**18.**

Амфитрион – здесь: гостеприимный хозяин (по мольеровской трактовке античного образа).

**19.**

...плодотворных фернейских досугов. – Ферней – деревня во французском департаменте Эн, поблизости от швейцарской границы, где с 1758 по 1778 г. жил в своем поместье Вольтер. Место, где собирались единомышленники Вольтера, прибежище для гонимых, а для самого Вольтера пребывание в Фернее стало наиболее светлым периодом жизни.

**20.**

...я не «колпак» и не «шляпа»... – «Колпаками», «ночными колпаками» называли в риксдаге 1738–1739 гг. сторонников шведского канцлера Арвида Горна. В этом названии содержался намек на трусость приверженцев канцлера. Оппозиция гордо именовала себя «шляпами» (шляпа – символ дворянства).

**21.**

...кто мечтает о скандинавской унии... – Речь идет об объединении Швеции и Норвегии с Данией.

**22.**

...орденом шведской Полярной Звезды. – Этот орден учрежден в 1748 г. Им награждались гражданские чиновники, духовные лица, ученые, художники.

**23.**

Дальбю – небольшой город в шведской области Вермланд.

**24.**

...еще один царевич Иван, бежавший из тюрьмы... – Речь идет об Иоанне VI, сыне правительницы Российской империи Анны Леопольдовны и герцога Антона-Ульриха Брауншвейгского. Императрица Анна Иоанновна провозгласила малолетнего Иоанна VI

наследником престола, но затем он был заключен Елизаветой в Шлиссельбургскую крепость. Всю жизнь (1740–1764) провел в заточении. Убит в царствование Екатерины II.

**25.**

...новоявленный Филипп Третий, избегнувший своих убийц! – Речь идет о слабоумном сыне Филиппа II, брате Александра Македонского, после смерти которого он был провозглашен царем (323 г. до н. э.). Но царем был объявлен также и сын Александра, мать которого подослала убийц к Филиппу.

**26.**

Фронтен – персонаж старинной комедии XVIII в., дерзкий и бесстыдный слуга. Наиболее ярко этот образ дан в комедии Лесажа «Тюркаре».

**27.**

...часы из Муры... – часы в расписном деревянном футляре, изготавливавшиеся в приходе Мура в Далекарлии.

**28.**

Густав Ваза (точнее – Васа) – шведский дворянин, возглавивший национально-освободительное движение шведов против датчан в 1521–1523 гг. В 1523 г. был избран королем Швеции.

**29.**

Густав-Адольф – король Швеции (1611–1632). Видный полководец и крупный военный реформатор. Укрепил господство Швеции на Балтике.

**30.**

Карл Двенадцатый – король Швеции (1697–1718). Одерживал победы в первый период Северной войны, однако военный поход Карла XII в Россию окончился разгромом шведской армии под Полтавой (1709).

**31.**

...в этой северной Гельвеции... – Гельвеция (лат.) – древнее название Швейцарии.

**32.**

...в знаменитой Тразименской битве. – В 217 г. до н. э. в районе Тразименского озера произошло сражение между войсками Ганнибала и римской армией, в результате которого были разгромлены римляне.

**33.**

Пизано Джованни (ок. 1245 – ок. 1328) – итальянский скульптор, ювелир и архитектор.

**34.**

...бурные пороги Терни. – Терни – город в Центральной Италии. Вблизи Терни протекает река Велино, известная своими водопадами и порогами.